

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Вторжение гомосексуальности¹

Мария Маерчик

“Секс везде,
только не в сексуальности”.
Жан Бодрийар, Соблазн

Мишель Фуко в 1976 году опубликовал первый том своего будущего трехтомника *История сексуальности* – книгу, которая перевернула весь мир представлений о природе сексуальности. Собственно, Фуко денатурализовал сексуальность, доказав, что сексуальность у нас была не всегда, что она появилась не так давно и является изобретением викторианской медицины, психологии и психиатрии 19 века. Другими словами, в конце 19 века то, что раньше считалось половым актом, сексом, а нередко и грехом, контроль над которыми осуществлялся церковью, постепенно трансформировалось в идентичность, вид, биологическую сексуальность, которая стала частью тела, психики, желез и гормонов. Церковь говорила о греховности большинства сексуальных практик и об искуплении греха;² медицина же сделала сексуальность врожденной характеристикой тела, нередко – телесной патологией и психической перверсией.

Это эссенциалистское изобретение медицины, которое считало сексуальность культурно индифферентной, объективной и неизменной биологической характеристикой, и пересмотрел Фуко, указав на историчность сексуальности, на ее социальную обусловленность и релятивность.

В более поздних работах других авторов, в том числе, теоретиков социального конструктивизма, развернута широкая и детальная панорама того, как во второй половине 19 и в первой трети 20 веков клинический дискурс изобретал,

ваял, лепил первые и наиболее значимые сексуальные «виды», обеспечив появление сначала слова и феномена гомосексуальность (возникновение слова Фуко датирует 1870 годом), а позже – гетеросексуальность.

Бинаризация безграничной палитры сексуальностей, упрощение их к двоичному гомо-/гетеро-делению стало важным механизмом «натурализации» гетеросексуальности. Ради большей демонстрации превосходства и натурализации гетеросексуальности врачи и психологи кропотливо и неутомимо описывали, ограничивали отличительную девиантность гомосексуала, оснащая его идентичность специфическими физическими и психическими качествами, «внутренней андрогинией» и «гермафродитизмом души».

В Украине в конце 19 и в первые десятилетия 20 веков, когда здесь также сформировался научный интерес к сексуальности, немало этнографов львовской школы (Зенон Кузеля,³ Владимир Гнатюк, Федор Вовк и другие), врачей-харьковчан (З. Гуревич, Ф. Гроссер, А. Ворожбит) и просто талантливых энтузиастов принялись изучать половую жизнь тогдашних украинцев в городе и в деревне, на фабриках и заводах, среди студентов и партийного актива. Записи опросов, интервью, анкетирования сведений о «половой жизни», а также материалы широкомасштабных просветительских кампаний в области «половых дел» составляют в настоящее время неоценимую (и все еще неоцененную) базу для социокультурного исследования тогдашних процессов в сфере изучения семьи и интимности.⁴ Эти материалы дают нам примеры того, как постепенно сексуальность концептуализируется, оформляясь при этом в терминах медико-патологического вокабуляра. Приведу небольшую иллюстрацию.

В конце 19 века священник Марко Грушевский осуществил серию полевых исследований среди крестьян на юге Киевщины, записывая, среди прочих пасторальных зарисовок, также и рассуждения о детском «секелянии». Исследователь кратко отмечает, что «секеляются» не только дети, но также и взрослые: девушки – с девушками, мужчины – с мужчинами. (Еще не выяснено, почему слово «секеляние», которое, как известно, восходит к диалектному названию клитора – «секель», в записях Грушевского касается не только девушек, но также мальчиков и мужчин). В целом записи свидетельствуют, что крестьяне воспринимали такое детское поведение как естественное (в смысле “докультурное”), хотя иногда – «стыдливое»: «Эта Марийка и наша Хивринька, то стыдно было и в сарай заглянуть... Задерут рубашечки [позаглютуются] обе и ползают друг на дружке. Стыдил, стыдил было, так они где еще сбегутся себе»; «Еще толком и есть не понимают, а уже сукины дети, шмыгаются друг с другом. Лезет одно на другое, как поросята те одно на другое». В других высказываниях традиция сопоставляется с таким атрибутом детской культуры, как «баловство» и «озорство»: «Это ничего! Вон уже большеенькие, так уже немного и разбирается да и то бывает слезутся себе. Пастушки уже, да и то какой с них спрос: баловство да и все! Ясное дело, дети!»; «Да пускай балуются! По-другому же нельзя!»; «Да

они все дети вот такие бывают, озорничают себе», – так рассуждали крестьяне в вечерних беседах с местным священником. Зенон Кузеля, который готовил к печати и комментировал эти записи Марка Грушевского, вспоминает и свои полевые наблюдения случаев детского аутоэротизма: «Я сам видел в Бережанах, как на пастбище забавлялись 6-12 летние пастухи, абсолютно не стесняясь: свою работу называли “делать пиво”». ⁵ Респонденты меньше всего обращали внимание на однополость и коллективность этих практик.

Уже в следующем абзаце публикации, перейдя от обзора этнографических записей к стилистике научного анализа, Зенон Кузеля меняет тон и лексику на официально-медицинскую. Аутоэротизм ученый называет «неестественным», «болезнью» и пишет о его чрезмерной распространенности: «*Неестественное* [курсив здесь и дальше в цитатах мой. – М. М.] успокаивание половых потребностей известно во всей Европе и достаточно часто встречается среди некоторых неевропейских народов». Далее автор делает попытку отделить мастурбацию (хоть и коллективную) от парного однополого “секеляния”, маркируя последнее как высшую меру патологичности – не просто “болезнью”, а “извращением”, которое «нужно причислить к *психопатическим проявлениям*».

С тех пор утекло немало воды. Некоторые реки даже потекли вспять. В следующем веке и гетеро-, и гомосексуальность претерпели видимые, существенные и значимые изменения. Эти изменения множественны; назовем основные – отход от двойного стандарта половой морали при оценке сексуальности мужчин и женщин, признание права женщин на собственную сексуальность, а мужчин – на собственную чувственность, ратификация одинаковой важности как репродуктивного (для рождения детей), так и рекреативного (для наслаждения) сексуального здоровья, рост толерантности по отношению к нетрадиционным формам полового акта, легализация однополых союзов в некоторых странах мира и тому подобное. ⁶

Социальный эффект этих изменений часто называют сексуальной революцией. В Украине сексуальная революция началась в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века и продолжается сегодня. Ее позитивные и негативные эффекты и лики, влияя как на большую политику, так и на судьбы и семьи «малых людей», получают оценку в трудах исследователей, философов, журналистов. ⁷ Сборник квір-поэзии и прозы *120 сторінок Содому (квір-антологія)* (2009), способствуя дискурсивной легитимизации и романтической текстуализации однополой любви, также является важной составляющей этих революционных изменений.

Гомосексуальность в постсоветском пространстве (как в Украине, так и в других странах), институализируясь, находится на пересечении целого ряда разнородных дискурсов. То, что на Западе развивалось на протяжении тридцати-сорока лет, в постсоветских странах оформляется едва ли не вдвое быстрее, порождая новые социокультурные явления и тренды. Например, когда

на Западе в 70-ые годы появилось организованное движение за права геев, оно родилось из субкультурной среды многочисленных и популярных в больших городах лесбигей-баров и клубов. Эта связь правозащитного движения с клубной культурой хорошо видна на примере так называемого «стоунвольского сопротивления». В 1969 году посетители гей-клуба *Stonewall Inn* в Нью-Йорке несколько дней оказывали сопротивление полиции, которая пыталась устроить в клубе унижительный дежурный рейд. Это событие в нью-йоркском гей-клубе и стало точкой отсчета современного мирового движения за права геев.⁸ В открытых противостояниях за такие же права, как и у гетеросексуальных людей, и сформировалась современная гей- и лесби-идентичность по западному образцу. Конечно, гей-клубов в Украине во время отмены в 1991 году уголовного преследования за мужскую гомосексуальность не было; лесбигей-потребление еще долго существовало в зародышевом состоянии: несколько журналов (не всегда периодических, как, например, *Один из нас*; или исчезнувших после первых нескольких номеров, как, например, *Баттерфляй* или *Лабрис*); объявления о знакомствах в газетах (как, например, в тернопольской газете *Пан+пани*); несколько не всегда экономически успешных дискотек в больших городах и только недавно объявленные гей- или гей-френдли клубы (*Бродячая собака* и *Матросская тишина*). Экономический кризис 90-х усложнял и замедлял развитие этого сегмента рынка.⁹ В то же время возникали первые геевские правозащитные организации, которые иногда маскировались под официально одобряемую антиСПИДовскую политику (*Ганимед*), а иногда прямо декларировали цели своей деятельности – защита прав и борьба с дискриминацией (*ЛИГА*, *Наш Мир*). Следовательно, клубная культура и правозащитные движения появлялись и формировались в Украине не последовательно, а хронологически почти в одно и то же время, то есть параллельно. Поэтому для общественности геи, а тем более, лесбиянки в Украине появились «вдруг», массово и почти из ниоткуда. Эта внезапность “появления” (а на самом деле – проявления), возможно, и объясняет нынешний массово нахлынувший неотрефлексированный страх перед фантомом “пропаганды гомосексуальности”. На самом деле имеет смысл говорить о процессах снятия стигмы, оформления поля видимости, преодоления стереотипов в восприятии гомосексуальности, легитимизации темы для публичных обсуждений.

Появление новых форм активности, через которые геи и их социальные требования впервые становились видимыми, подорвало популярность и распространенность маргинального, еще советских времен феномена – «плешек». *Плешка* – это место, «где мужчины, не тратя силы и времени на ритуалы ухаживаний, будучи свободными от matrimониальных обязанностей и ощущения стигмы, могут реализовать свои гомоэротические фантазии».¹⁰ Недавно осуществленные исследования «плешек» представляют нам яркую картину субкультурных гендерных идентичностей, антуража, стилистики, правил и ритуальности пространства глухих парковых закоулков, заброшенных летних театров, бань

и туалетов, где собирались гомосексуальные мужчины.¹¹ Феминизированные через лексику и манерное поведение персонажи «плешек» могли говорить о себе в женском роде, выбирать женские имена (Квазимода, Прапорщица, Психиатричка, Сюзанна, Жу-жу), обращаться друг к другу «сестра», «девушки», «бабушки» (старшие мужчины), что являлось доведенной до сарказма игрой с гендером, живой иллюстрацией господствующего медицинского и квазинаучного понимания гомосексуальности как гендерной инверсии. Вот как описывается манера поведения наиболее экспрессивных типажей посетителей «плешки», которых называют «хабалками»:

Это специфическая манера разговора, предполагающая обращение к собеседникам в женском роде (в т.ч. «дев-А-чки», «сестры», «п-А-други», «проститутки»), черный юмор, остроты, сарказм... Хабал структурируется через метафору (объект насмешек описывается через сравнение с чем-то гротескным и обидным), а выполняется как сценическая постановка, предполагающая маньеризм, изменение голоса, заученную фразеологию известных травести-артистов (прежде всего Верки Сердючки), высказывание о себе в женском роде и, очень часто, элементы суржика... Категория «хабалки» обязательно вмещает манеру поведения, ассоциируемую скорее с женщинами, чем с мужчинами. Но, в отличие от британского swish (nelly) – подчеркнуто женского поведения, в случае хабальства мы имеем поведение, определяемое скорее как «бабское», то есть намного более развязное и даже агрессивное...¹²

В настоящее время в гомосексуальной среде наметилось некоторое противостояние в вопросах перехода в видимое, публичное пространство. Непротивоположной составляющей гомосексуального стиля жизни на Западе является практика «каминаута»,¹³ отказа от «жизни в чулане» и легализации однополых партнерств. Однако обитатели «плешек», которые выросли при Советском Союзе, так же как и младшее поколение, унаследовавшее советский конструкт гомосексуальности, часто не согласны с западными идеями открытости. Они видят высший смысл в закрытом, тайном существовании, отдают предпочтение моделям скрытого взаимодействия, сформированным в условиях криминализации гомосексуальности.

Современный сдвиг от стилистики «плешечного» алкоголизма и «хабализма» в сторону глянцевого тренированной маскулинности и метросексуальности иллюстрирует как идеологические изменения в гей-пространстве постсоветских стран (установление релевантной идентичности является политической целью движения геев, поскольку способствует эффективному вхождению гомосексуалов в социум), так и изменение способов потребления: коммерциализацию гей-культуры, появление гей-сегмента в глобальном культурном супермаркете – вплоть до радикальной заангажированности гомосексуальных образов глэм-капитализмом.¹⁴

Если мужская гомосексуальная культура имеет «плешковую» предысторию, то женская гомосексуальность в Украине истории не имеет. Хотя антигомосексуальная уголовная статья и не распространялась на женщин, но все равно женские гомосексуальные отношения оставались невидимыми, спрятанными в привычном для женщин *приватном* домашнем пространстве, – там, где женщины встречались и где парадоксальным образом складывались иногда не осознаваемые самими участницами (*sic!*) гомосексуальные семьи.

Джон Дэмилио отметил связь между развитием клубной гей-культуры и капитализма.¹⁵ Мужчинам было легче преодолеть экономическую зависимость от родительской семьи, что стало важным условием освобождения от ее контроля и плюрализации жизненных стилей. Социально немобильные и экономически сдерживаемые женщины долгое время не создавали гомосексуальные сообщества или клубные «тусовки». Только с недавних пор отдельные клубы больших городов (например, *Помада* в Киеве) объявляют один день недели женским, предоставляя площадки для досуга гомосексуальным девушкам и женщинам; в последние несколько лет начали организовываться и другие коммерческие мероприятия отдыха: капустники, тематические представления, костюмированные путешествия на катерах; развивается культура клубного «дрэг-кинга» и т. д.

Современное лесбийское движение за гражданские права и свободы некоторое время развивалось в фарватере гей-организаций, где женские вопросы артикулировались в той степени, в которой они совпадали с задачами мужского гей-движения. Автономное лесбийское движение начало оформляться только к началу 2000-х годов. Сегодня из двадцати официально зарегистрированных ЛГБТ-организаций в Украине лишь несколько являются женскими. Как правило, они симпатизируют феминистским идеям (*Женская Сеть, Инсайт, Сфера*). Еще несколько неформальных идеологически индифферентных объединений имеют спортивное направление (*NRG*).

На протяжении последнего десятилетия в Украине сформировалась и лесбийская субкультура. Преобладающим модным стилем в ней является молодежный стиль дайк – с короткими стрижками, мальчишеской осанкой, тщательным образом подстриженными ногтями, пирсингом, в джинсах и рубашках или майках. Прямым указанием на гомосексуальность может быть украшение, рисунок или тату в виде лабриса, кольцо на большом пальце или мизинце, элемент одежды в цветах радуги. Стиль дайк можно рассматривать как альтернативу доминирующей на постсоветском пространстве гиперфемининности, гламурной и объективизированной женственности (появление которой является ответом брачного рынка на формирование нового класса богатых мужчин – «новых украинцев»). Дайки категоричны в отказе от одежды с «рюшами», стразами, каблуками и тому подобное, противопоставляя свою «подлинность» «мнимой», «имитирующей», «мистифицированной» фемининности гламурных «девочек», которых стереотипно считают недалекими. Вот, например, определение, взятое

на форуме сайта www.feminist.org.ua: «Клава¹⁶ – полная дура в рюшечках, стразах и бантиках, обязательно с длинными волосами и ногтями (накрашенными), использует декоративную косметику и читает журналы, типа *Космополитен*, *Натали*».

Часть женской гомосексуальной «тусовки» критически воспринимает попытки стереотипизации гомосексуальности, представляя своими стилями весь спектр гендерных женских презентаций – от крайней фемининного (такой стиль называется «фем» или «клава» и часто становится предметом насмешек) через типичные молодежные стили и до женской маскулинности («бучи», которых феминистски настроенные лесбиянки склонны осуждать за подражание маскулинности).

Одним из парадоксов современной лесбигей-культуры является эссенциалистская интерпретация гомосексуальности – даже идеологически вышколенными представительницами и представителями движения за права лесбиянок и геев. Гомосексуальность в этих случаях в борьбе за признание своей легитимности оперирует тем самым вокабуляром «естественности», апеллирует к тем же медицинским доказательствам «врожденности», которыми ее лишали прав на существование в конце 19 – в начале 20 века.

Постоянные изменения в лексике гомосексуальности отражают динамичность процессов внутри украинского ЛГБТ-сообщества. Например, уже несколько лет осуществляются попытки заменить в украинском языке медицинский и стигматизирующий термин «гомосексуализм» на более мягкий и приемлемый – «гомосексуальность». На Западе и вовсе предпочитают избегать слова *homosexuality*, потому что гомосексуальная идентичность является, в некоторой степени, порождением гомофобного доминирования. Ослабление гомофобии в западных обществах понемногу лишает актуальности эту риторику инаковости.

Самоназвания *гей* и *лесбиянка* возникли и утвердились в контексте западного гей-движения, основанного на принципах либерализма. Однако реалии Украины, хоть здесь адаптированы и развиваются западные конструкты гомосексуальности, придают этим идентичностям местные особенности, а названия обретают локальные коннотации. Гомосексуальные мужчины легко приняли западный термин: сегодня понятие «гей» почти полностью вытеснило старое «гомосексуалист». Однако исследователи отмечают, что термин *гей* в отечественных условиях потерял свое социополитическое содержание и не свидетельствует уже об активной гражданской позиции его носителей.¹⁷

Наоборот – в женской гомосексуальной культуре в Украине. Здесь термин «лесбиянка» менее популярен. Возможно потому, что это слово было заимствовано украинским языком значительно раньше, чем слово «гей»; во всяком случае, уже в первые годы 20 века Зенон Кузеля называет однополые женские отношения “лесбийской любовью”.¹⁸ В то же время некоторые ученые считают,

что слово «лесбийский» в то время «не выходило за пределы интеллектуальной элиты и имело литературный оттенок». ¹⁹ На протяжении последнего столетия внутриязыковые негативные коннотации слова «лесбиянка» разрослись столь густо и плотно, чего не случилось с новым для украинского языка словом «гей», негативные оттенки которого автоматически отсоединились при переходе слова из английского в украинский язык (хоть геям англоязычных стран и довелось пройти “чистилище” идеологической нормализации этого самоназвания). Даже клинический термин “гомосексуалистка”, мужской аналог которого до сих пор сохраняет свою актуальность, легко уступил место не менее уничижительному слову “лесбиянка”, передав ему часть своей маргинализирующей силы. Сегодня принятие самоназвания *лесбиянка* в Украине является вызовом и требует некоторой решительности и смелости. А потому лишь определенная часть гомосексуальных женщин используют его в качестве самоназвания; оно обозначает преимущественно более или менее социально активных девушек и женщин, которые собственным опытом стремятся формировать нормативный и позитивный имидж как идентичности, так и слова, которое ее обозначает.

В Украине еще не до конца утвердилось данное поколение терминов, однако появляются новые постмодернистские *квир*-идентичности, которые также являются продуктом западной культуры. Слово «квир», как и слово «гей», переходит в украинский язык без резко маргинализирующих коннотаций, которые свойственны ему в английском, и упрочняется в украинском языке, на первый взгляд, как синоним гомосексуальности. Но это не совсем так.

Появление нового термина «квир» и его адептов подняло волну острых споров в виртуальном ЛГБТ-сообществе Украины, отказывающемся принимать термин «квир». Немногочисленные сторонники понятия «квир-идентичности» геями и лесбиянками в Украине либо ассоциируются с «фриками» (эпатажными персонажами, известными преимущественно по картинкам западных карнаваловых гей-парадов), либо обвиняются в ненужности использования нового понятия (лишь мода на новое слово), либо – в аполитичности («квир» прикрывают ярким названием свою политическую незрелость, политически сформированные личности должны называться «гей и лесби») и, по иронии судьбы, осуждаются за избыточную «американизированность» (зачем нам чужое “квир”, когда имеются свои знакомые названия) и за «несвоевременность появления» (мы еще не добились первичных прав, еще не время для пост-идентичностей). Вердиктом длительных дебатов вокруг идентичности и термина «квир» стал радикальный лозунг: “ЛГБТ отдельно, квир отдельно” (из закрытой рассылки ЛГБТ-сообщества).

Слово «квир», впрочем, не имеет ни четких дефиниций, ни даже размытых, потому что в сам концепт заложена имманентная несклонность к дефиниции. Квир-теория – академическая дисциплина, которая сформировалась на Западе в конце 90-х годов преимущественно на основе трудов таких авторов как Ми-

шель Фуко, Джудит Батлер, Ив Косовски Седжвик, Дэвид Гальперин, Джудит Халберстам – также демонстрирует несклонность к четким рамкам и обозначениям. Квир-теоретики (и люди, признающие квир-идентичность) акцентируют не столько практики подобия (формирование сексуальности по признаку пола сексуального партнера), сколько практики расхождения (специфика опытов, практик, склонностей). В результате под сомнение ставится продуктивность эфемерной категории “идентичность”, вслед за этим реконструируются и основанные на ней солидарности: ведь различия внутри каждой группы могут быть более существенными, чем подобия. «Квиры» предлагают новые более пластичные и значительно менее четко определенные модели для отождествлений негетеронормативности,²⁰ признают идею пластичной сексуальности в ее гиддеанской интерпретации²¹ и проблематизируют очевидность самого концепта гомосексуальность.²²

Между тем на Западе изменения касаются и классической, хорошо известной аббревиатуры ЛГБТ. Иногда к этому дружественному квартету добавляется буква К, иногда – К в квадрате, что обозначает одновременно *queer* и *questioning* для тех, кто не вписывается в рамки, predetermined аббревиатурой ЛГБТ. Может добавляться также буква И, обозначающая *интерсексуалов*, – людей, сочетающих физические признаки, которые обычно разграничивают мужчин и женщин, или буква А, обозначающая *асексуалов*, – людей, которые не чувствуют сексуального влечения и противостоят попыткам видеть в этом медицинскую проблему.²³

В пределах образовательной и превентивной кампании относительно ВИЧ/СПИДа в Украине были адаптированы и другие новые названия – аббревиатуры ЧСЧ и ЖСЖ, обозначающие «мужчин, которые имеют секс с мужчинами» и «женщин, которые имеют секс с женщинами». Задача заключалась в необходимости выделить виртуальную, условную группу по формальному признаку полового партнера, безотносительно к идентичности участников. Хотя для ВИЧ/СПИД-дискурса пол сексуального партнера значительно менее важен, чем сексуальная практика. В социологии сексуальности уже давно говорится о том, что именно сексуальные практики, а не пол сексуального партнера могут дать более четкие основания для классификационных и аналитических упражнений.²⁴

Исследования ЧСЧ и ЖСЖ проиллюстрировали, что границы группы людей, имеющих секс с лицами того же пола, не совпадают с границами сообщества тех, кто идентифицирует себя как гей и лесбиянка. Например, в Украине 10% мужчин, имеющих секс с мужчинами, на время опроса были женаты, а 32% опрошенных не считали себя Геями.²⁵ В свою очередь, границы сообщества геев и лесбиянок не совпадают с границами лесбигей-субкультуры. Да и вне субкультур и идентичностей существует огромное количество «обычных людей», семейных или одиноких, но одинаково невидимых для общества и научных исследователей.

Я только еще начинала писать это послесловие к сборнику квір-поэзии и прозы *120 сторінок Содому (квір-антологія)*, а вокруг еще не изданной книги художественных текстов разразился первый скандал. Официальная власть анонимной директивой запретила презентацию этой антологии на книжной ярмарке. Впрочем, организаторы ярмарки мгновенно и публично возразили против существования такого запрета и заявили свою открытость для дискуссии. Это обозначило новую современную позитивную тенденцию: дискурсивную несовместимость интеллигентности и гомофобности.

-
- 1 Перевод с украинского – Оксана Гуцаленко и Анна Величко (Маєрчик М. «Вторгнення гомосексуальності (післяслово до збірника квір-поезії)», *120 сторінок Содому (квір-антологія)* (Київ: Критика, 2009), с.15 –25). Перевод осуществлен при финансовой и организационной поддержке ОО *Инсайт* (<http://insight-ukraine.org.ua/>)
 - 2 Концептуализацию греха сексуальности в Украине можно проследить на материалах впечатляющей коллекции «грехов разнообразных» [«гріхів розмаїтих»] и епитимий, рассмотренных в труде Николая Сулимы *Гріхи розмаїтї: епитимійні справи XVII–XVIII ст.* (Київ: Фенікс 2005). Хронологически и территориально шире эта тема рассмотрена в монографии Евы Левин *Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700* (Ithaca; L.: Cornell University Press, 1989). Часть русского перевода этого тома помещена в сборнике *“А се грехи злые, смертные...”: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.)* (Москва: Ладомир, 1999), с. 335–468; см. также на сайте: www.krotov.info/libr_min/01_a/seg/rehi.htm.
 - 3 Именно Зенон Кузеля первый среди украинских этнографов начинает использовать слово «сексуальность» и вносит его тогдашнее видоизменение – «сексуализм» в реестр своего словаря заимствованных слов со значением: «Половая жизнь; сексуальный, половой» (Др. Зенон Кузеля. *Словник чужих слів.* (Київ-Ляйпціг: Українська Накладня, Коломия: Галицька Накладня, Winnipeg Man: Ukrainian Publishing. – [≈1918]) с. 272). Ученый адаптирует и ряд других слов современной сексуальности: аборт, гедонизм, эротизм, эрекция, онанизм, поллюция, флирт, помада (которая еще фигурирует со значением «мазь для волос»), которых не было в лексиконе традиционной украинской культуры.
 - 4 Частично (насколько эти процессы совпадали в Украине и России) раннесоветская политика сексуальности изучается в монографии: Frances Le Bernstein, *The Dictatorship of Sex: Lifestyle Advice for the Soviet Masses* (Northern Illinois University Press, 2006), в диссертации: Пушкарев А. М. *«Половой вопрос» в общественных дискуссиях в 1920-гг. в России как отражение отношений индивида и власти (отечественная*

- и зарубежная историография*). Автореф... кандидат. ист. наук. (Москва, 2007). Что касается гомосексуальности того же периода см. также: Д. Хили. *Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства*, пер. с англ. (Москва: Ладомир, 2008).
- 5 Мр. Г[рушевський], «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля», *Матеріали до українсько-руської етнології*, т. VIII, 1906, с. 67–69.
 - 6 Более глубокий анализ этих современных процессов см.: Анурин В., «Сексуальная революция на марше (предисловие переводчика)», в Гидденс Э. *Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах* (Москва: Питер, 2004), с. 7-28.
 - 7 Сексуальная либерализация иногда вызывает страх и моральную панику в нашем обществе, так как реформирует наиболее консервативные социальные институты – семью и сексуальность. По иронии судьбы, в то время, когда эти институты деформализируются и в них растет вес и важность эмоциональной близости, интимности и сопереживания (эмпатии), бытовое мышление интерпретирует их наоборот – как упадок и девальвацию морали, деградацию и потерю духовности. Современная украинская академическая наука не слишком интересуется этой микросферой человеческих отношений, а поэтому академический и образовательный дискурс не обеспечивает ни более широких методологических подходов к проблеме, ни более глубокого и деликатного социокультурного анализа трансформаций в области интимности и сексуальности. Вследствие этого современные социальные процессы измеряются по медицинским параметрам более чем столетней давности, которые уже в момент создания были идеологически предвзяты, или, что еще менее допустимо, сегодня оцениваются по чьим-то частным нормам и меркам, приводя к ошибочным суждениям, «передергиванию», стереотипизации проблемы, а следовательно – к напряжению и противостоянию, как это произошло, например, между Национальной экспертной комиссией по вопросам защиты общественной морали, с одной стороны, и, с другой, – обществом, мораль которого данная комиссия так стремится защитить.
 - 8 28 июня 2009 года по случаю 40-ой годовщины стоунвольского сопротивления Президент США Барак Обама произнес торжественную речь в Белом доме. Празднование события на таком уровне говорит не только о его политическом весе, но и о важности правозащитного движения американских геев и лесбиянок, права которых Обама обещал защитить соответствующими законодательными актами федерального уровня.
 - 9 Более детальное описание тогдашней ситуации см.: *Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине* (Киев: Нора-принт 2000), с. 105–107.
 - 10 М. Касянчук, Є. Лещинский, «Аналіз соціальних ідентичностей чоловіків, що мають

- секс з чоловіками, в українському суспільстві (на прикладі Донецької області)», *Український Соціум*, 2008, №3 (26), с. 17–29. Хочу виразити подяку автору цитуємого труда Максиму Касянчуку за важные советы и комментарии к этому тексту.
- 11 М. Касянчук, Є. Лещинский. «Аналіз соціальних ідентичностей...»; М. Касянчук, Є. Лещинский. «Графіті як елемент субкультури великого міста», *Особистість і мегаполіс: антропологічний аспект. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції* (Донецьк: ДІСО, 2008), с. 131–137 (www.kasianczuk.hotmail.ru/varia/graffiti.htm).
- 12 Цит. по: М. Касянчук, Є. Лещинский. «Аналіз соціальних ідентичностей...»
- 13 «Каминаут» (от англ. *coming out*) – сленговое выражение, возникло в контексте западного гей-движения и означает выход в публичное пространство, репрезентация своей гомосексуальной идентичности перед семьей, друзьями и в других социальных институтах и практиках. Считается, что с увеличением количества «каминаутов» в обществе будет уменьшаться гомосексуальная стигма.
- 14 О феномене глэм-капитализма см.: Д. Иванов, *Глэм-капитализм* (Спб., 2008). Из интервью с автором: «Гипертрофированная яркость и прямолинейные ассоциации с роскошной и богемной жизнью, сексом и экзотикой притягивают внимание, и потому в экономике, столь зависимой от внимания, именно активно культивируемый гламур создает новых чемпионов рыночной гонки – производителей и потребителей всего «страшно красивого». Отдельные тренды гей-гламура представлены в современной ленте Андрея Кончаловского “Глянец” (2007).
- 15 J. D’Emilio, «Capitalism and Gay Identity», *Culture, Society and Sexuality*, ed. Richard Parker & Peter Aggleton (Routledge, 1998), с. 250–258.
- 16 Этим словом называют гетеросексуальную, но также и гомосексуальную гламурную женщину.
- 17 См. также: Касянчук, Лещинский «Аналіз соціальних ідентичностей...».
- 18 Мр. Г[рушевський], «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля», *Матеріали до українсько-руської етнології*, т. VIII, 1906, с. 68.
- 19 Д. Хили. *Гомосексуальное влечение в революционной России... С. 26.*
- 20 Предложенный квир-теорией концепт “негетеронормативности” позволяет избежать дихотомии гомо-/гетеро-, поскольку ориентируется не столько на формальный признак пола сексуального партнера, сколько на идеологемы, базовые принципы организации сексуальности конкретного человека и построение взаимоотношений в

паре. Эти идеологемы включают множественное непростое переплетение факторов гендера, пола, возраста, сексуальных практик, репродуктивной политики, социальной активности, финансового положения и т.д. С этой точки зрения гетеронормативной или негетеронормативной может быть и гомо- и гетеросексуальная пара.

- 21 Известный британский социолог Энтони Гидденс вводит термин «пластичная сексуальность» для обозначения «децентрированной» сексуальности, освобожденной от необходимости репродукции и «правила фаллоса». Сексуальность функционирует, в терминах Гидденса, как “подверженная определенному развитию и переработке черта личности”. См.: Гидденс Э., *Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах* (Москва: Питер 2004), с.43.
- 22 Аннамари Джагос в книге *Введение в квир-теорию* (Annamarie Jagose. *Queer Theory: An Introduction* (New York University Press, 1997); русский перевод вышел в московском издательстве *Канон* в 2008 году) ставит под сомнение гомосексуальность как унифицированную, стабильную и связную категорию.
- 23 Хочу поблагодарить лидера организации *Инсайт* Анну Довгопол за важные замечания и коррекцию некоторых положений этой части текста.
- 24 См., например, Halberstam, Judith, *Female Masculinity* (Duke University Press, 1998).
- 25 Л. Амджалин, К. Кашенкова, Т. Коноплицька, О. Лисенко та ін. *Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс з чоловіками, як компонент епідеміологічного дослідження другого покоління: Аналітичний звіт* (Київ: МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2005), с. 10–11.

Три мнения об одной книге:

Виктория Нарижна. Антология как поступок?

120 сторінок содому: Сучасна світова лесбі/гей/бі література. Квір-антологія. Упорядники Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова и Олесь Барліг (К.: Критика, 2009), 122 с.

Когда на прошлогоднем Форуме издателей во Львове я увидела эту тонкую книжечку, почти брошюру издательства «Критика», она сразу привлекла мое внимание. И действительно, как показали события следующих дней, эта скромная антология не осталась незамеченной и многими другими: ни одна другая презентация Форума не стала жертвой погрома. Дважды.

Вне сомнения, это был вполне закономерный поворот событий: вряд ли кто-нибудь сегодня питает сомнения относительно того, насколько далеко

продвинулось украинское общество в отношении гендерной и сексуальной толерантности. Но из этого невеселого события двух погромов можно, если подумать, извлечь некий прок: бурная реакция защитников украинской нации от «толерастии», по образному выражению автора предисловия Андрия Бондара, показала, что составителям антологии удалось совершить именно тот поступок, который они задумали, – спровоцировать политический скандал как общественную реакцию.

В ходе презентаций создатели антологии неоднократно подчеркивали, что на первом месте в этом проекте стояли *тексты*, стояло желание донести до украинского читателя столь заметную в западном искусстве квир-литературу, которая по определенным причинам этому читателю не знакома. Конечно, можно взять это утверждение на веру. Более того, я предполагаю, что на уровне сознательных целей многие из составителей, скорее всего, действительно руководствовались просветительскими побуждениями. Но внимательный дискурс-анализ антологии на уровне названия, предисловия, текстов, послесловия и высказываний переводчиков о своей работе заставляет считать, что перед нами не антология-текст, а, скорее – как я могла бы образно назвать – антология-поступок. Более того, мне кажется, что именно конфликт между антологией-поступком (если пользоваться этим понятием и дальше) и антологией-текстом и создает такое внутреннее напряжение данной книги, из которого можно сделать множество выводов.

Уже само название воспринимается двояко. Составители антологии не раз отмечали, что название сборника указывает на своеобразную самоиронию (на этот момент специально указывает автор предисловия Андрий Бондар). Однако, как говорят, плох тот анекдот, смысл которого нужно разъяснить, чтобы слушатель засмеялся. Боюсь, что в этом случае мы имеем дело именно с таким типом дискурса – слишком запятанным, чтобы расшифровать его без инструкции. Ведь те носители гендерных стереотипов в украинском обществе, кругозор которых так хотелось расширить создателям антологии, ничего иронического в названии не найдут: слишком демонизирован в нашем обществе ярлык «содомиты», который все никак не отклеится от людей с гомосексуальной или квир-ориентацией.

Тем читателям, которые и так толерантны к «любящим иначе», параллели, предлагаемые названием, также могут показаться неочевидными. Прежде всего, таких просвещенных читателей поразит, как мне кажется, парадокс несоответствия между указанием на радикальные и для постсовременных дискурсов романы маркиза де Сада и фильм Паоло Пазолини и отнюдь не провокационным, а, напротив, очень умеренным и даже осторожным содержанием представленных в антологии текстов. Ведь посвященные романтической любви и перипетиям сентиментальных и нежных чувств тексты вполне могут читаться как намек на то, что порочный и развратный Содом существует не столько в жизни гомосексуалов или квир-субъектов, сколько в фантазиях гомофобов. Осмелюсь предпо-

ложить, что многие из людей, которые, защищая свое право любить так, как им подсказывает сердце, ежедневно сталкиваются, будто с отражением в кривом зеркале, с жутким воплощением тех гомофобных фантазмов и грехов, которое им приписывает стереотипное общественное сознание, могли бы посчитать такую «самоиронию» уж слишком хладнокровной...

И если вопрос о том, удачно или неудачно выбрано название для антологии, остается спорным, зато бесспорно другое: именно такой выбор сделал этот сборник общественной провокацией. Ведь, как мне кажется, чем-то, кроме волнительного заглавия, объяснить подобный политический ажиотаж вокруг этого сборника не просто: будем честными, это не первая книга с гомосексуальной и квир-тематикой, которая вышла в Украине. Например, несколько лет назад борцы за духовную и моральную чистоту украинских душ упустили презентацию в рамках того же львовского Форума романа *Любиево* (изданного по-украински под названием *Хтивня*), которая проводилась при участии автора – Михала Витковского, гея, публично осуществившего свой *coming out*. Более того, справедливости ради стоит заметить, что по сравнению с *Любиево* антология *120 страниц Содома* так же невинна и скромна, как *Морис* Форстера по сравнению с *Дневником вора* Жене. Однако никто не пикетировал и тем более не громил презентацию Витковского – ее попросту не заметили. Думается, если бы антология, изданная «Критикой», вышла под каким-нибудь нейтральным названием вроде «Другая любовь», не видать и ей подвижнической участи. Но волшебное слово «Содом» сработало политически правильно и вовремя – хотели этого составители антологии или нет.

Погромами на Форуме дело не ограничилось. С каждым новым инцидентом, так или иначе связанным со сборником, медиа-скандал набирал новые обороты. В результате произошло то, что всегда и происходит в таких случаях: за политическим скандалом потерялся сам текст. Именно поэтому я и начала свою рецензию с обсуждения самого факта скандального политического существования этой книги, а не с обсуждения качества ее содержания.

Однако содержание это все же заслуживает обсуждения. Хотя бы потому, что художественные тексты антологии получили поистине блестящее публицистическое обрамление в виде предисловия Андрия Бондаря и послесловия Марии Маерчик. Мне кажется, в отношении данной книги не будет преувеличением сказать, что эти ее структурные элементы, зачастую второстепенные в художественных изданиях, здесь играют, возможно, большую смысловую роль, чем сто двадцать две страницы поэзии и прозы. Именно эти два текста где-то прямо, а где-то непрямо раскрывают читателю мотивы, мировоззренческую базу, подкрепляя поэзию и прозу авторитетными научными соображениями etc. Посредством этих двух текстов антология невольно демонстрирует свою полемическую природу, свое желание подтолкнуть общество к дискуссии. Жаль только, что общество пока не проявило умения оперировать какими-либо аргументами в этом споре – кроме шумных погромных акций.

Сам предмет спора, или художественный материал, помещенный между предисловием и послесловием, на мой взгляд, не так однороден и не заслуживает таких же безоговорочных похвал. Здесь вновь ярко проявляет себя природа издания: антология-поступок вытесняет собой антологию-текст. Становится очевидным, что желание *издать* эту книгу было более первостепенной задачей, чем желание издать ее *безупречно*. Особенно это заметно в произведениях иностранных авторов. Некоторые тексты у меня, как у читателя и переводчика, оставили впечатление переведенных наспех. Либо переведенных не слишком опытными специалистами. Конечно, перед создателями антологии стояла непростая задача – ведь большую часть материала составляет поэзия, столь непослушная переводчику. Собственно, стихи и стали главными жертвами в этом обозначенном мною выше противостоянии текст vs. поступок. И, как это обычно бывает, наиболее пострадали тексты русскоязычных авторов: в билингвистическом украинском пространстве у украинских литераторов нередко возникает пагубная иллюзия, что переводить с русского способен каждый, кто владеет украинским художественным словом. Но перевод со столь близкого генеалогически и столь знакомого в быту языка таит в себе серьезные подводные камни: в украинский вариант с легкостью закрадываются русизмы, в угоду рифме или размеру в тексте появляются нехарактерные для украинского, но продуктивные в русском конструкции и способы словообразования. Как это ни странно, но для перевода со славянских, легко понятных переводчику языков на украинский, порой требуется больший опыт и более глубокая филологическая база, чем для перевода с менее родственных языков, скажем, романо-германских. Некоторые тексты антологии были выполнены с недостаточным профессионализмом – и стали практически нечитабельными. С моей субъективной точки зрения, среди всех русскоязычных поэтов более всего повезло литературной мистификации Николая Уперса (точнее, Алексею Пурину, который спрятался за его виртуальной спиной): несмотря на сложность формы, его стихи в украинском переводе Ирины Шуваловой звучат вполне органично и почти не теряют в выразительности.

С прозой дела обстоят не в пример лучше – возможно, потому, что она предъявляет переводчику более мягкие требования. Помещенные в антологии тексты Кристофера Уайта, Насты Манцевич, Адама Надашди, Елены Новожиловой почти одинаково хороши – несмотря на то, что выполнены разными переводчиками. Именно эти небольшие фрагменты прозы (иногда отрывки из больших произведений, иногда – самостоятельные новеллы) показали мне не только способными подарить эстетическое удовольствие и даже катарсис тем читателям, которые и так относятся без предубеждения к теме однополрой любви, но также способными пробить эмоциональную броню тех, кто мог бы сделать шаг навстречу пониманию феномена «другой любви», но по тем или иным причинам пока его не сделал. Трудно не проникнуться болью несмываемой стигмы, болью постоянной скрытности и неизбежного страха перед ненавистью и непо-

ниманием, прочитав отрывок из романа Кристофера Уайта *«Гей-Декамерон»*. Трудно не ощутить всю глубину отчужденности гомосексуала от семьи, которая не в состоянии принять его таким, какой он есть, прочитав эюд Насты Манцевич *«Тебе, любимая, посвящается»*.

Поэтические произведения антологии выражают чувственность, страсть, одиночество, желанную боль, которую приносит с собой «непростая любовь», и искренне сопережить этим чувствам, скорее всего, сможет только не отягощенный стереотипами читатель. Но и поэзия может подарить читателю не только удовольствие от «соединения слов, которым хорошо рядом» (еще цитата из предисловия), но и нечто другое – этическое понимание внутреннего мира Другого, его жизни и его проблем. Чего только стоят простые, но точные и страшные слова Марио Вирца:

«Мертві сини хороші сини
вони не пручаються
і забирають правду з собою в могилу
перед якою родичі стоять і плачуть
не червоніючи»*

С другой стороны, экскурс в незнакомую ранее чувственность для читателя также является интересным опытом. Так, стихотворения Ирины Шуваловой (которая в антологии выступает также как переводчик и одна из составителей) пронизаны такой изысканной эротической эстетикой, такой античной по своему духу и сокрушительной по своей силе влюбленностью в совершенство юношеского тела, что ее тексты сделали бы честь любому поэту-гею и звучали бы в его устах вполне достоверно. Возможно ли предположить, что любование красотой человека, юности, пронзительного любовного чувства с легкостью преодолевает искусственные границы сексуальных ориентаций и непростые лабиринты гендерной самоидентификации?

В итоге остается сказать: антология с честью выполнила свою политическую функцию репрезентации квір- и гомосексуальности в Украине, отбросив, надеюсь, навсегда стереотипное представление о том, что для «нас» гомосексуальность не характерна, что появляется она в наших целомудренных землях исключительно под влиянием Запада, который по привычке все еще считается «загнивающим». Свою роль как интересный читателю текст антология выполнила несколько хуже. Однако и тут есть множество плюсов: по крайней мере, издание знакомит желающих с новыми в нашем литературном пространстве

* Понимая все опасности ловушки двойного перевода, приведу все-таки русский вариант:
«Мертвые сыновья хорошие сыновья
они не артачатся
и забирают правду с собой в могилу
перед которой родные стоят и плачут
не краснея».

именами и подталкивает к дальнейшим изысканиям в сфере лесби/гей/би и квир-литературы. Хочется верить, что благодаря таким изданиям украинская публика не пропустит их появление на свет.

Марта Варикаша. «Queer pro quo», или за пределами бинарной гендерной дихотомии.

120 сторінок содому: Сучасна світова лесбі/гей/бі література. Квір-антологія. Упорядники Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова и Олесь Барліг (К.: Критика, 2009), 122 с.

Настоящим прорывом в стратегиях преодоления стереотипного гендерного мышления в Украине стало появление книги *120 страниц содома: Современная мировая лесби/гей/би литература*, составленной И. Шуваловой, А. Поздняковой и О. Барлигом. Это первая в Украине антология современной мировой квир-литературы, которая содержит переводы поэзии и прозаических произведений около тридцати авторов стран Европы и Америки второй половины 20 – начала 21 века.

Объединяющим лейтмотивом сборника становятся, на мой взгляд, не просто гей-лесбийские субъективности, которые продолжительное время рассматривались в Украине в пределах категорий женского и мужского, но структура именно квир-субъекта. Как отмечает автор послесловия к сборнику М. Маерчик, понятие «квир» (в переводе с англ. – «странный», «эксцентричный», «подозрительный») «не имеет ни четко очерченных, ни даже размытых дефиниций» и, соответственно, является «белым пятном» в современном украинском (и не только) литературоведении. Это конструкция идентичности, противопоставленная традиционной гендерной бинарной (мужской и женской) идентичности. Термин впервые применила известный американский философ и культуролог Тереза де Лауретис, обозначив им децентрированную, маргинальную субъективность, свойственную феномену неосексуальности, обозначающему не только гей/лесби/бисексуальность, но и аутоэротику, сексуальные отношения между поколениями (И. К. Седжвик), разнообразные практики изменения телесности. В то же время Э. Гросс (*Пространство, время и перверсия: Эссе о политике тел*, 1995) доказывает, что квир-субъективность отличается не только маргинальностью (позиция подчинения, отсутствие прав), но и трансгрессивностью (для маргинального субъекта характерна вариативность в становлении и наличие

плюральных, разнородных желаний). Тезис Гросс означает, что статья «квир» может любая субъективность (вне зависимости от биологического пола, сексуальной ориентации, расы, класса и др.), которая производит трансгрессивное репрезентативное действие. С этой позиции становится ясным замечание Андрия Бондара (автора вступительной статьи к антологии): «Все ли представленные поэты имеют нетрадиционную ориентацию? Нет. Все ли поэты с нетрадиционной ориентацией попали в антологию? Снова нет. Нечто общее объединяет тексты всех участников *120 страниц содома*? Бесспорно, да. Особенное отношение к другому, особенное переживание другого, особенный другой». Этим другим является квир-субъект или трансгрессирующий субъект, именно поэтому в текстах представленных авторов мы, кроме явной гей/лесби/бисексуальности, найдем аутоэротичность, нарциссизм, инфантильность, любовь между поколениями и т.д.

Проблема современных обществ состоит в том, что квир-субъект вынужден – вопреки себе – ежедневно разыгрывать традиционную гендерную роль, которой не соответствует, поскольку должен «вести себя так, чтобы ни у одного постороннего наблюдателя не возникло подозрения, что эти двое – больше, чем просто друзья» (К. Уайт, «Гей-Декамерон»). Об этом же писала еще американский философ Джудит Батлер в *Гендерной тревоге: Феминизм и подрыв идентичности* (1990). В ее трактовке квир-субъективности рассмотрены механизмы социальной редукции: трансгендер сужается до гендера, нарратив до – перформатива. Гендер понимается как театральная роль, которую можно избирать, однако «во время имитации гендера безоговорочно саморазоблачается фиктивность его структуры» [J. Butler, *Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), p. 137]. Квир-теоретики отмечают, что квир-субъективность благодаря эксцентричному поведению (критерий действия, «экстремальное желание» и т.п.) ставит под сомнение установленные гендерный порядок и нормативность, поэтому вытесняется доминантными дискурсивными практиками в замкнутое пространство («чулан»). Недаром в верлибре Ш. Оффенберга в вопросе автора чувствуется скрытое возмущение: «Мы хотим остаться так навечно? Жить отрывками, как будто цыгане, везде и нигде дома. Мы блуждаем подворотнями, чаще всего уже после того, как ночь отсчитает двенадцать».

Тексты писателей, предложенные в антологии, демонстрируют страх гомофобных настроений в обществе, на что указывает не только использование метафор с негативным оттенком при обозначении проявлений гей/лесби/бисексуальности, но и определенная раздвоенность лирического героя, наличие у него взаимоисключающих желаний: с одной стороны, он чувствует влечение к человеку одинакового с ним пола, с другой – пытается подавить свои чувства, отдалиться от любовного объекта, нанося боль и себе, и ему (Маркус Гедигер «- Я тебя хочу, – говоришь», Адам Надашди «Скрипка Господа», Штефан Оффенберг «Секс как доказательство любви», «Последний ларец»).

Гомофобию прививает окружающая среда, в том числе и родители квир-субъекта, которые «знают / что является положительным для их сыновей / они подыскивают им смерть / которая подходила бы к белым гардинам. / Мертвые сыновья хорошие сыновья / они не сопротивляются / и забирают правду с собой в могилу» (Марио Вирц, «Возвращение блудных сыновей»); родители друзей (Валерий Печейкин, «Я знаю, кто Вы») или сами друзья (Елена Новожилова, «Мыльный воздух»). Интересными кажутся произведения, в которых появляется конфликт между традиционными парами через осознание одного из супругов своей склонности к гей/лесби/би сексуальности (Тимоти Лиу, «Решение»; Изабелла Филипяк, «Бритва»; Василий Чапелев, «Письмо счастья»).

Однако представленные в антологии писатели нашли возможность выйти из «чулана», частично преодолев собственную гомофобию и влияние окружающих. Это путь творчества: в тексте квир-субъекты могут оставаться самими собой, выражая молчаливую боль от травм, нанесенных общественной псевдоморалью: «свобода выбора / свобода слова / свобода слева / сзади и сверху / снова и снова / Радио Свобода / радиус свободы – / свобода рабства / рабство свободы / свобода равенства / посреди вырождков / свобода выть по-волчьи / свобода среди ночи» (Я. Могутин, «Любовь на свободе»). Поэтому не удивительно, что их творчество, невзирая на «отличие географических и социокультурных факторов», объединено не только особой чувственностью и телесностью, но и определенным надрывом, травматизмом в переживании дружности собственного я. Это часто побуждает искать квир-персонажей в отношениях с лицом одинакового с ними пола, искать понимания, поддержки и любви, которых не могут им дать окружающие. Объект любви иногда идентифицируется с матерью (Тимоти Лиу, «В который раз нападение тревоги»; Наста Манцевич, «Тебе, любимая, посвящено».)

В западном литературоведении исследования квир-субъективности сосредоточены в большей степени на проблемах ее репрезентации в поэзии и художественной прозе (изучают как смысловую, так и формальную структуру). Методологическим базисом таких работ является психоанализ, феминистская критика, семиология и нарратология. Интересными в этом плане могут стать наблюдения относительно поэзии (преимущественно представленной в антологии): ведь в лирике, так же как и в автодокументалистике, автор имеет большую эмоциональную возможность выразить себя, продемонстрировать собственную уникальную субъективность. Следовательно, антология побуждает к появлению ряда научных исследований в украинском и шире – постсоветском контексте и может стать путеводителем для нового поколения ученых в лабиринтах современной квир-литературы: «... однажды, в огромном кинотеатре, это все будут показывать на экране, так что мы сможем их увидеть. И не только мы. Там будут все, «натуралы» тоже. И они будут выкрикивать одобрительно, и радоваться, и радоваться, и нам уже никогда не придется прятаться» (К. Уайт «Гей-декамерон»).

Ольга Гармаш. 120 сторінок содому: Сучасна світова лесбі/гей/бі література. Квір-антологія. Упорядники Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова и Олесь Барліг (К.: Критика, 2009), 122 с.

«– Кто из нас Анна Форкхаймер? – наконец спрашивает он, совсем одурев и вытаращив глаза.

– Поскольку вы являетесь Хельмутом Краузенем, настоящим полковником, то, следовательно, Анной тут могут быть только я. Так и есть. Но есть одна проблема. Недоразумение. Сумашествие. Психоз. Невроз. Истерия. Позор. – Все думают наоборот».

«Но начальники ведут нас в контору – туда, где ДОЛЖНЫ нас опознавать, идентифицировать и определять, кто мы не есть. Это Они будут решать!»

Дневники полковника Хельмута Краузена

120 страниц содома – книга, представляющая собой попытку легитимации друговости и представления множественности идентичностей, своеобразный манифест свободы и расшатывания основ существования парадигмальной субъективной «нормальности» в современной Украине. Мозаичность сборника представлена в гетерогенном разнообразии стилей, образов, лиц, событий; таким образом, сборник репрезентирует не просто друговость, а гетерогенную множественность друговости.

Политические скандалы, сопровождавшие появление данной антологии квир-литературы на территории Украины, свидетельствуют, на мой взгляд, о сложных путях принятия не просто феноменов неосексуальности в нашем обществе, но принятия другого(вости) в себе – в его(ее) собственной репрезентации в том обществе, где не на нормативно-законодательном (отсутствует статья за однополую связь, но однако и не присутствует ее разрешение и возможность юридического оформления гомосексуальных браков), но на традиционно-моральном уровне не закреплена, к сожалению, *толерантность к другим*. Признание себя иным в структуре собственной личности фактически запрещено на уровне повседневности в украинском социуме и культуре.

Каковы результаты данного политического «эксперимента»? На мой взгляд, в социальном плане публикация сборника является событием, с которым невозможно не считаться в дальнейшем: ведь он реализует желание не просто обратить партизанское движение ЛГБТ в признанное, а преодоление страха перед тем, чтобы любить по-другому, признание иной любви и идентичности. Понимание и принятие творчества других и о другом в себе и знаменует данную политическую возможность.

Еще мне хотелось бы сказать о риске. О риске в связи с близостью к границе (границе социальной нормы), которую мы наиболее отчетливо признаем, производя попытку преступить ее. Поэтому для каждой/го эта книга может от-

крыть собственные субъективные эмоции и переживания: от резкого отрицания до откровения, принятия и вдохновения. Таким образом, это не только риск для тех, кто репрезентирует свою запрещенную субъективность открыто в ситуации социальной незащищенности. Это риск и для читателей – как возможности впустить в себя нечто новое.

Еще К. Леви-Стросс отмечал, что другим всегда отказывают в человеческом статусе, в наличии культуры. Чтобы преодолеть неравенство, необходимо признать за другим качества «человеческого». Сборник и совершает данную процедуру: другие в нем любят, имеют детство, страдают, боятся, теряют, обретают... Страдание (боль, потери) и любовь (ожидание, счастье, желание) предстают как грань, которая не разъединяет, а соединяет, приближает, а не дистанцирует, заставляет сопереживать и коммуницировать. Другой перестает наделяться «извращенной» сексуальностью: он ждет, верит, теряет, чувствует, то есть близок к нам обнаженностью своих чувств, души, тела, так же, как и мы, обнаруживая себя без маски, защиты. Однако в своей незащищенности другой всегда всемогущ.

Любить в эпоху порно и техники сложно, а любить по-другому практически невозможно. Поэтому в сборнике встречаются темы невозможности, страха быть рядом, страха «тех поцелуев, которых не было», сложности в отношениях («мы спим ближе к окнам, нежели друг к другу»).

«Содомия носит вызывающий характер лишь по отношению к сохраняющейся гетеросексуальной норме, нормативной дифференциации полов» (М. Рыклин). Поэтому выбрав название «содом», авторы сборника репрезентируют стратегии негетеросексуальной любви, страдания, человеческой жизни и готовности бороться за нее. Как общество способно ответить на эти требования любви – вопрос актуальный для всех постсоветских обществ.

Два мнения об одной книге:

Жанна Чернова: Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире (М.: Время, 2009), 496 с.

В последние годы на постсоветском пространстве появляется большое количество книг, статей и разного рода других публикаций по гендерной проблематике. Однако большинство из них рассчитаны на узких специалистов, давно и профессионально погруженных в данную область знания. Книга И. С. Кона *Мужчина в меняющемся мире* представляет собой – благодаря лёгкому стилю изложения, обилию эмпирических данных, разнообразию представленных подходов – редкое исключение, обращаясь к самому широкому кругу читателей и

делая сложную и «сухую» науку доступной, интересной и будоражащей воображение. Важным, по моему мнению, является то, что данная работа пытается расширить круг читателей литературы по гендерной тематике, включая в него не только профессионалов-исследователей, стоящих на определённых теоретических позициях в изучении гендерных вопросов, но и тех, кто только начинает заниматься гендерными исследованиями и пока ещё не включён в научную дискуссию об основаниях гендерной теории, гендера и его интерпретациях.

Если говорить о гендерных исследованиях на постсоветском пространстве, то они по-прежнему, с моей точки зрения, остаются синонимом женских исследований, в центре внимания которых находятся специфически женский опыт и практики. Даже беглое знакомство с библиографией по гендерным исследованиям позволяет убедиться в том, что подавляющее большинство русскоязычных работ сделаны женщинами, о женщинах и для женщин. Существует ряд исследователей, прямо или опосредованно дистанцирующихся от феминистской теории, считая её слишком экстремальной. Как следствие, они видят одну из целей своей работы в том, чтобы «развести гендерные и феминистские исследования в российском знании». Эти практики занятия гендером приводят к превращению гендерных исследований из критической социальной теории в аморфное предметное поле, лишённое всякой идеологии познания, – в то время как само понятие «гендер» предполагает не только рассуждения о женщинах и разных категориях женственности, но и рассмотрение концепта мужественности, его различных вариантов, формирующихся на пересечении таких социальных осей как возраст, национальность, сексуальная ориентация, религиозная принадлежность, профессиональный и экономический статус и т. п. Представляется чрезвычайно важным то, что книга И. С. Кона делает весомый вклад в развитие и институционализацию мужских исследований как части гендерных исследований в целом. Автор – «одиноким рыцарь», бесстрашно делающий предметом широкого обсуждения такие болезненные и закрытые для российского общества темы как мужская сексуальность, гомосексуальность, отцовство, мужское здоровье, многообразие типов мужественности, проблемы мужской идентичности в постиндустриальном мире.

Книга И. С. Кона *Мужчина в меняющемся мире* состоит из пяти глав, каждая из которых посвящена исследованию «мужского вопроса» с различных точек зрения и в различных социально-исторических аспектах. Первая глава («Кризис маскулинности и возникновение “мужского вопроса”») рассказывает об истории возникновения и институционализации мужских исследований в западном и отечественном академическом дискурсе. Автор анализирует вклад, сделанный феминистским движением – а также общественными организациями, объединяющими мужчин – в возникновение общественной и академической дискуссии по проблемам, с которыми сталкиваются мужчины в своей повседневной жизни (например, отцовство, мужское здоровье, насилие, гомосексуа-

лизм). Как результат, в общественной повестке дня был сформулирован список специфически мужских проблем, произошли операционализация и уточнение категориального аппарата мужских исследований как научной дисциплины. В конце XX века происходила институционализация мужских исследований, нашедшая свое выражение в возникновении многочисленных исследовательских центров, создании специализированных научных журналов о мужчинах и для мужчин, лавинообразном росте публикаций по данной проблематике. И. С. Кон констатирует, что в России мужские исследования также выделяются в самостоятельное исследовательское направление в рамках гендерных исследований. Однако этот процесс происходит с запозданием в 2000-х годах и во многом является результатом импорта западных гендерных теорий на российскую почву.

Во второй главе книги («Товарищ мужчина. Мифы, метафоры и парадигмы») И. С. Кон раскрывает дихотомию мужественности и женственности в исторической и культурной перспективе. Он показывает, что данные понятия являются взаимно противоположными, структурирующими социальными принципами. Однако их содержание не является фиксированным, а представляет собой сложный культурно-исторический конструкт, валидный в конкретном обществе и изменяющийся во времени и пространстве. Автор анализирует богатый исторический материал, мифологию разных народов, приводит разные интерпретативные подходы к пониманию мужественности и женственности (полоролевой подход, конструктивистский подход, объединительная парадигма). Представленное в данной главе богатство эмпирического материала и теоретических подходов призвано наглядно продемонстрировать то, что «мы должны говорить не о маскулинности, а о маскулинностях», которые находятся в иерархических отношениях и пронизаны властной составляющей. Кризис маскулинности стал одной из наиболее обсуждаемых проблем в последней трети 20-го века, стал знаком того, что традиционный гендерный порядок трансформируется в изменившихся социально-экономических условиях, а сложившиеся гендерные иерархии больше не удовлетворяют ни мужчин, ни женщин.

Третья глава («Мужчины в постиндустриальном обществе») предоставляет собой подробное социологическое изучение того, что происходит с гендерным порядком в современном западном и российском обществе. Изменения характера труда в постиндустриальных экономиках (переход от тяжёлого физического труда к «интеллектуальному», офисному и обслуживающему), массовое участие женщин в общественном производстве подрывает основания гегемонной маскулинности, сформировавшейся в рамках традиционного гендерного порядка и базирующейся на примате физической силы, а также таких «традиционных» мужских качествах как соревновательность, агрессивность, неэмоциональность, brutальность, выносливость. От мужчин ожидают – как в приватной, так и в публичной сфере – проявления тех качеств, которые раньше приписывались женщинам (эмпатия, сервильность, терпеливость, аккуратность, усидчивость).

Инструментальная роль перестает быть единственной нормативной гендерной ролью для мужчин; её исполнение – и часто невозможность реализовать её в «чистом виде» – предполагает большие психологические издержки и сопряжено с трудностями, подстерегающими мужчин в личной, семейной и профессиональной жизни. Отказ от единственной нормативной роли «сильного кормильца» позволяет сойти с прокрустова ложа гендерных предписаний и значительно расширить диапазон жизненных сценариев для мужчин, ранее находившихся на периферии поля мужественности. Этот круг проблем в полной мере встаёт не только перед западными, но и перед российскими мужчинами.

В следующей, четвёртой главе книги («Мужчина в зеркале психологических исследований») автор обращается к результатам исследований в рамках психологии. Эти исследования показывают, что существуют биологически детерминированные различия (в пространственной ориентации, вербальных способностях, эмоциональной и сексуальной жизни) между мужчинами и женщинами. Однако эти различия несущественны для успешного выполнения сходных социальных ролей и переопределяются социальными требованиями к исполнителям вне зависимости от их биологической принадлежности. Данные исследования демонстрируют, насколько изменились мужчины под воздействием новых структурных условий и социальных требований и каковы тенденции этих изменений в современном обществе. Плюрализация мужественности позволила мужчинам не только отказаться от нормативной гендерной роли «сильного кормильца», но и предоставила новые легитимные возможности для самореализации («забота о себе», своё тело, внешности, выполнение эмоциональной работы и заботы в семье, выстраивание новых партнёрских отношений с женщинами, новое отцовство). Эти новые возможности помогают мужчинам повысить самоуважение и удовлетворённость своей жизнью.

Последняя глава («Отцовство и отцовские практики») посвящена важной и динамично изменяющейся мужской роли и идентичности – отцовству. И. С. Кон показывает, как трансформировался институт отцовства в истории западного и российского общества. Традиционный институт отцовства базировался на авторитете, символической и экономической власти мужчины-отца над членами семьи. К традиционным ролям отца относились роли кормильца, дисциплинатора, примера для подражания и непосредственного наставника сыновей в общественно-трудовой деятельности. Отношения с детьми характеризовались иерархичностью, дистанцированностью, эмоциональной холодностью и авторитаризмом. Такая модель отцовства была характерна для традиционного гендерного порядка и подкреплялась инструментальной ролью кормильца и мужской гегемонией в публичной сфере. Практики традиционной модели отцовства не были разнообразными, они носили преимущественно дисциплинарный, наказательный и наставнический характер. Кризис маскулинности, изменение социально-экономических условий сделали видимой проблематичность данной

модели отцовства, привлекли внимание к негативным последствиям широко распространённого в западных индустриальных обществах феномена «отсутствующего отца». Критическое переосмысление феминистски-ориентированными исследователями своего личного опыта проживания в семье, где отец вынужден участвовать в профессиональной гонке за достижение более высокого социально-экономического статуса и фактически исключён из повседневной семейной жизни, наглядно показало те психологические трудности и издержки, с которыми сталкиваются отцы и дети в эмоциональной и приватной сферах. Современные отцы осваивают новые родительские практики. Модель современного отцовства предполагает бóльшую включённость мужчин в уход за ребёнком, заботу о нём, его воспитание, а также в совместную с женой опеку над ребёнком даже после расторжения брака. От отца ждут, чтобы он проводил больше времени с ребёнком, был заботлив и нежен, выполнял эмоциональную работу, брал на себя ответственность не только за материальное обеспечение семьи, но и за качество детско-родительских и супружеских отношений в семье. На материале данной главы И. С. Кон показывает, что идеология нового, ответственного отцовства получает всё большее распространение не только на Западе, но и в России.

К достоинствам книги *Мужчина в меняющемся мире*, делающим её значимым научным событием в рамках гендерных исследований, я полагаю, можно отнести следующие методологические и стилистические особенности.

Первая – опора на эмпирические данные. Автор приводит, внимательно изучает и пытается осмыслить многообразные и часто разрозненные сведения о маскулинности из разных областей социального и исторического знания. Эти данные становятся основой для концептуализации мужественности; вектор аналитического мышления учёного направлен «снизу вверх», то есть от эмпирики к теории, а не наоборот. В этом смысле И. С. Кон отходит от распространённого методологического канона, когда автор в начале работы задаёт теоретические рамки, а затем приводит доступные ему эмпирические данные, служащие иллюстрацией выдвинутых постулатов.

Вторая – междисциплинарность. Поле гендерных исследований, по сути, является междисциплинарным, так как гендерная идентичность и половая принадлежность представляют собой базовую компоненту, определяющую психологический склад личности и социальные траектории индивидов в различных исторических и культурных контекстах. Однако, несмотря на многочисленные призывы к междисциплинарности, на практике существует достаточно чёткая сегрегация между представителями различных дисциплин научного знания и сторонниками гранд-теорий, что затрудняет взаимное использование результатов исследований представителями разрозненных «лагерей». И. С. Кон пытается преодолеть дисциплинарные границы, демонстрируя эвристический потенциал и методологические ограничения различных подходов. Данная работа может служить примером возможности выстраивания кросс-дисциплинарных траекторий,

позволяющих понять многогранные аспекты различных типов мужественности. Автор не противопоставляет различные теоретико-методологические подходы к изучению маскулинности (биологический детерминизм и социальный конструктивизм, психология, биология, история, социология), а предлагает экскурсию, во время которой он не прямо артикулирует свою исследовательскую позицию, а вдумчиво проводит читателей по разным «залам» темы, бережно сохраняя «сокровища», собранные каждым подходом и дисциплиной.

Третья – контекстуальность. Выбранная автором историческая аналитическая перспектива позволяет понять, что некоторые черты мужественности и женственности, которые считались биологически фундированными, изменяются, получают разные интерпретации в разных обществах в разные отрезки времени. Можно согласиться с автором, что аналитические схемы, не вписанные в культурно-исторический контекст, дают только статичную, «фотографическую» картину того, что происходит, лишая нас возможности понять причины и следствия явлений, динамику их изменений. Благодаря принципу контекстуальности, провозглашаемому автором, становится понятно, что в меняющемся мире меняется и мужчина, его психологические установки, поведенческие паттерны в отношении своего и противоположного пола, предписанные ему, а также исполняемые им роли, его вклад в гендерное устройство общества. Зачастую вырванные из контекста возникновения и формирования и механически перенесённые на отечественную «почву», западные гендерные концепты теряют свой эвристический потенциал и позволяют исследователям констатировать наличие или отсутствие лежащих на поверхности тенденций развития отечественного и западного гендерного порядка. Сравнительные гендерные исследования требуют кропотливого и тщательного изучения генеалогии концептов гендерной теории, что блестяще осуществляет И. С. Кон на страницах своей книги.

Четвёртая – популярный стиль изложения. Автор сознательно избегает использования «сухого» научного тезауруса, «птичьего» языка, избытка узкопрофессиональными терминами. Наоборот, использование специальных терминов сопровождается в книге подробным объяснением их значений, многочисленными примерами и эмпирическими данными. В этом смысле представленный в книге материал выстроен *дидактически* грамотно: автор знакомит читателя с понятийным аппаратом гендерных исследований, не загоняя его при этом в жёсткую теоретическую матрицу. Такой стиль изложения материала позволяет преодолеть «геттотизацию» исследований по гендерной проблематике, привлечь к этим проблемам внимание как можно большего количества читателей. Не стоит забывать, что гендерные исследования на Западе возникли и развивались под непосредственным влиянием феминистской теории, которая была нацелена не только на критическое переосмысление сложившейся системы властных отношений в обществе, но и на практическое изменение гендерного устройства общества, реинтерпретацию доминирующих представлений о мужественности

и женственности, изменения общественного сознания и реальных жизненных сценариев и практик индивидов. Книга И. С. Кона, на мой взгляд, воплощает в жизнь самую революционную сущность гендерных исследований, являющихся политически «заряженными», ориентированными на изменение сознания читателя и общественного мнения в целом.

Несомненные достоинства книги – простота и доступность изложения, максимально широкий охват эмпирических данных и теоретических подходов – создают у меня как у читателя и исследователя, занимающегося гендерной проблематикой, определённые опасения относительно возможного эффекта данной публикации для разных категорий читателей. Существующие в современном медиадискурсе канонические способы изложения психологических проблем межполового общения для «простого» читателя, не отягощённого профессиональными знаниями по этому вопросу, – советы, публикуемые в мужских и женских глянцевого журналах, серии книг по популярной психологии («стервология», «пик-ап», НЛП) и другие масскультурные продукты – занимают доминирующее место, задавая и форму, и содержание гендерной и около-гендерной проблематики. Читатель, привыкший потреблять алгоритмизированные рецепты, будет ожидать от данной книги простых конкретных ответов для решения своих сложных проблем – например, из чего же состоят мужчины и каким ключом открывается маскулиность? Однако ему будет сложно обнаружить эти ответы в данной книге без определённого интеллектуального труда – к которому, возможно, он совсем не готов. С другой стороны, профессионально подготовленный читатель наверняка будет искать в книге однозначно выстроенную аналитическую модель с приложением исследовательского инструментария для изучения современных аспектов мужественности – и не найдёт их там. Быть может, мудрость учёного в данном случае и состоит в том, чтобы заставить читателя задуматься над поставленными перед ним вопросами, проявить самостоятельность в поиске решений и ответов. Но не останется ли читатель на распутье, так и не решившись – несмотря на то, что двери перед ним открыты – сделать следующий шаг в лабиринте гендерного знания?

*Ольга Терехова: Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире (М.: Вре-
мя, 2009), 496 с.*

В книге *Второй пол* Симона де Бовуар, задавшись вопросом «Что такое женщина?», сделала замечание о том, что «мужчине не пришло бы в голову написать книгу о специфическом положении, занимаемом в человеческом роде лицами мужского пола». ¹ Однако это предположение не оправдалось: в современных гендерных исследованиях (к сожалению, подсчитать точное количество изданных книг на тему мужских исследований не представляется возможным) всё чаще поднимается тема мужчин, мужчины, мужского и маскулинного в прошлом и в современности. В вышедшей недавно книге Игоря Кона *Мужчина в меняющемся мире* представлена достаточно подробная ретроспектива представлений о мужчинах, мужском и маскулинном в современной реальности.

Мужчина в меняющемся мире – это пять глав, в которых рассматриваются различные достижения и предположения мужских, женских и гендерных исследований. После названного буквально на грани фолла, как это часто бывает у И. С. Кона, «введения в мужиковедение», пересказав в первой главе идею о кризисе маскулинности, автор после рассмотрения мифов, метафор и парадигм о мужском и женском, маскулинном и фемининном резюмирует: «традиционная “маскулинная идеология” и “гегемонная маскулинность” перестали соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям и создают социально-психологические трудности как для женщин, так и для самих мужчин». ² В последующей главе «Мужчины в постиндустриальном обществе» присутствует момент некоей фатальности в рассуждениях автора о происходящих изменениях в статусе мужчины в современном мире.

Возможной поведенческой стратегией в нынешних условиях социальной реальности, в том числе и на её макроуровне, могут стать изменения в поведении в соответствии с представлениями о том, что требуется от мужчины для выживания и дальнейшей эволюции (а вместе с ним мужского и маскулинного). Я как читательница *Мужчины в меняющемся мире*, не успев осознать биологический детерминизм или социальный конструктивизм в перспективе этого вопроса, в следующей, четвёртой главе засмотрелась в «зеркало» психологических исследований о мужчинах. Игорь Кон очень последовательно как бы «расчехляет» известные – и не очень известные – представления о «психологии мужчины», рассматривает гендерные стереотипы в контексте эмпирических данных, а также (о, ужас! – и опять на грани фолла для гендерных исследователей и исследовательниц) проводит параллели между поведением человека и приматов, размышляя о таких чертах как агрессия и соревновательность среди мужчин. Мужская сексуальность, объективация мужского тела и состояние здоровья представителей «сильного пола» под софитами психологических особенностей становятся факторами, позволяющими провести аналогию между женщиной и

женщиной в современном мире, чтобы осознать, что именно создаёт проблемы и препятствия для мужчин в социальном пространстве. Гегемонная маскулинность становится в некотором смысле менипповым платьем: с одной стороны, в её перспективе можно анализировать многие события, но с другой – вопиющая однобокость и недостаточность полноты интерпретации сегодня очевидны слишком многим. Чтобы справиться с современными вызовами, мужчина должен освоить определённые адаптивные навыки, но «для этого ему нужно считаться с новыми социальными реалиями и не равняться на один-единственный образец гегемонной маскулинности», – как формулирует автор книги.³

В последней, пятой главе («Отцовство и отцовские практики») Игорь Кон знакомит читателя с исследованиями социологов и психологов отцовства во многих странах мира (не только в России, Европе, США, но и в Японии и других странах), анализирует и резюмирует наиболее популярные дискурсивные практики отцовства, представленные в мировом искусстве.

Мужчина в меняющемся мире, на мой взгляд, – книга из серии книг, которые нужно читать от начала до конца (хотя искушённый читатель, бегло ознакомившись с содержанием книги, поймёт, что он хочет прочитать в первую очередь – книгу можно использовать и в качестве справочного материала, если нужно найти информацию о каких-либо исследованиях на мужскую тему). Однако, не прочтя книгу «от корки до корки», читатель не почувствует удовольствия от *настроения* этой книги. Дружелюбный тон, которым автор рассказывает весьма интересные вещи о мужчинах (и всего сразу очень много, в одном месте – так, что читатель получает максимум информации), располагает к ознакомлению с представленным материалом и идеями. Для меня самым важным в этой книге является признание автором ценности свободы индивидуального выбора человека вне зависимости от его половой принадлежности: «я думаю, что ни половые, ни гендерные различия никогда не исчезнут, мужчины и женщины никогда не будут одинаково широко представлены во всех сферах деятельности <...>. Я не вижу ни моральных, ни социальных оснований противопоставлять эти модели, лишь бы только индивидуальный выбор был свободным».⁴

Акцент на важности свободы индивидуального выбора (как мужского, так и женского) – это, как мне кажется, не камешек в огород гендерных стереотипов, а признание доминирования личностных характеристик над общими половыми и гендерными. Мужчина в современном мире – это «человек рода он» или нечто иное? Чтобы осмыслить возможные ответы на этот вопрос, можно не один раз перечитывать книгу заново.

1 Де Бовуар С. *Второй пол* (СПб.: Алетейя, 1997), с. 27.

2 Кон И. С. *Мужчина в меняющемся мире* (М.: Время, 2009), с. 97.

3 Там же, с. 301.

4 Там же, с. 451.

Екатерина Наумова: Моя «теория литературы»
Маруси Климовой. *Маруся Климова. Моя теория литературы* (СПб.: Гуманитарная академия, 2009), 256 с.

Телевизор на даче, как книга в туалете – неиссякаемый кладёзь мудрости.

М. Климова, *Моя теория литературы*

Презентация новой книги Маруси Климовой *Моя теория литературы* состоялась 22 октября 2009 года в Доме Книги в Санкт-Петербурге, после чего она перекочевала в раздел «Новинки» по соседству с *Изысканиями* Александра Секацкого, *Флорентийской чародейкой* Салмана Рушди, *Властью и собственностью* Егора Гайдара, *Непутёвая Шанель* Эдмонда Шарль-Ру и многими другими. Там я обрела *Мою теорию литературы* вновь.

По счастливому стечению обстоятельств или с «лёгкой руки», *Моя теория литературы* оказалась в моих руках чуть раньше официального выхода, причём из самих рук Маруси Климовой, что я в полной мере осознала чуть позже, возрадовавшись уже минувшей, но не упущенной возможности преждевременного владения тем, что мне не принадлежит. Это, скорее всего, звучит сложно, но является правдой, и ничего тут не попишешь. Остается только читать и жить. Потому что читать Марусю Климову лучше по жизни, во времени, в промежутке, останавливаясь, закрывая книгу, без желания вернуться к ней вновь, потому что сама внешняя ситуация произведет иницирующий жест возвращения. Книга Маруси Климовой *эффективна*, в том смысле, что она работает как *эффект* неузнавания, но что ещё важнее: она работает! *Моя теория литературы* необычайно присвояема, потому-то она и *моя* тоже. Это не её, нет, это *моя*, *моя* теория литературы! Понимаете, что происходит? Вот и я сначала не поняла.

Уже само название *Моя теория литературы* функционирует как *double-bind*, двойное противоречивое послание. «Ты должен быть таким, как я, но ты не можешь быть таким, как я» – так после истории Эдипа говорит отец ребёнку, что буквально означает следующее: ты должен быть таким же смелым, умелым, умным или мудаком, как я, но спать с матерью ты не можешь. Зато, когда подрастёшь, ты сможешь сделать это с её прототипом, то есть с фигурой,

её замещающей. Так и Маруся Климова сначала смотрит на тебя с обложки и говорит: *Моя теория литературы*, но как только начинается процесс чтения, ты уже всегда обнаруживаешь эту теорию литературы уже в себе, причём, как *свою* теорию литературы.

К примеру, сидишь на каком-нибудь очередном кино-клубе, и вдруг какая-то пронафталиненная «баба»¹ говорит: «из всех искусств для нас важнейшим является кино...». И ты вдруг значительно поднимаешь палец вверх и произносишь: «...и цирк». С каких это пор я договариваю ленинские фразы? – мелькает у меня мысль. Но уже в следующую секунду я начинаю про себя негодовать: вот действительно, почему это все всегда забывают о детской любви Ленина к цирку, как это утверждает Маруся Климова в своей книге? И ведь действительно, вслед и вместе с Марусей я понимаю, что никто не задумывается о том, что и социализм рухнул потому, что цирк как «одно из важнейших» искусств утратило свою актуальность. По правде говоря, в цирке страшно неудобно: ведь обязательно сначала окажется, что твоё место уже занято; но когда оно освободится, тут же какой-нибудь башкатый переросток усядется перед тобой и заслонит происходящее. Ты же, как умная девочка, заберёшься на спинку кресла, ноги поставишь на сиденье и будешь глазеть. А там – там происходит «нечто замечательное! Маленькие толстенькие лилипутики в борцовских костюмах, схватившись коротенькими ручками, напоминаясь тюленьи лапы, старались повалить друг друга на усыпанный опилками пол. Очаровательная лилипуточка в отделанном блёстками купальнике, изгибаясь как змея, пропускала голову меж собственных ножек, а потом произошло самое главное: хорошенькая лилипуточка вынесла на сцену ксилофон и, быстро-быстро перебирая палочками с шариками на концах, сыграла: “Где-то на белом свете, там, где всегда мороз...”». Стоп: какие лилипуты, какой мороз, какой ещё белый свет? Я-то и в цирке, кажется, никогда не была, да и лилипута видела только один раз в тренажёрном зале... или нет? Ах, да – это Маруся Климова, *Моя теория литературы*, стиль и воля. В самом начале – точно.

Или другой пример. Слушаю, например, замечательную лекцию о толстовской вирусологии искусства и заразительности пения деревенских баб, а перед глазами возникает образ мачо-Толстого в «крестьянской косоворотке» и с «косматой бородой», а рядом с ним – «маленькое тщедушное существо» Ленин, который «как известно, без ума от Толстого, и, судя по всему, считал его настоящим идеалом мужчины. Не случайно ведь он в присутствии Горького, нисколько не стесняясь постороннего человека, бегал по комнате и, схватившись за голову, восклицал: “Боже мой, боже мой! Какая глыба! Какой матёрый человечище! Какие всё-таки чудеса могут творить люди!” Не помню уж точно, какие чудеса привели Ленина в такой восторг (кажется, *Крейцера соната*). Или же нет! Всё было совсем не так! Ленин бегал по комнате и взволнованно лепетал про творимые людьми “чудеса” в одном из старых советских фильмов

после того, как прослушал *Аппассионату* Бетховена. А толстовская *Крейцерова соната* тут ни при чём! Просто эта сцена за давностью лет слилась в моем мозгу воедино с мемуарами Горького, в которых тот приводит восторженный отзыв Ленина о Толстом»². Вот, видимо, и у меня вызывающая подобные ассоциации книга Маруси Климовой оказалась вплетена в ткань жизненных перипетий настолько плотно, что на определённом этапе я перестала отличать теорию литературы Маруси от моего собственного бытия «здесь-и-сейчас». Что, конечно, с одинаковым успехом можно отнести как к моей невменяемости, так и к таланту письма Маруси: ведь быть созвучной ситуации читателя, не зная, куда его с твоей книжкой судьба закинет, да и вообще не имея представления, кто этим читателем окажется, как минимум – дар предвидения, как максимум – знание жизни и свободная ориентация на местности. В общем, с Марусей Климовой хорошо путешествовать, так как её текстуальность будет функционировать как голос, пришедший извне, но воспринимаемый вами как свой, и вы побываете там, где на самом деле вас не было, и познакомитесь с теми, с кем познакомитесь. Ощущение, что «меня – двое», не будет вас покидать. При этом сопровождающая вас персона будет обладать отменным чувством юмора, что всегда приятно слышать в свой адрес – пусть даже и от себя самого.

Должна признаться, что есть ещё одна странность у этой книги: её нельзя забыть. Её можно только потерять. При этом когда ты её теряешь, ты не понимаешь, *что именно* ты потерял. Сразу поясню: однажды я бродила с Марусей в руках, читала, разговаривала, ела и незаметно для себя уснула. Так обычно процесс засыпания и происходит, тут странного ничего нет. Странно то, что когда я проснулась, первая мысль была такая: «*Моя теория литературы. Где она?*». Я подскочила и стала искать её, но её не было, при этом не было ещё и многого другого, кроме неё. Тогда я поняла: я потеряла Марусю Климову. Но как такое возможно? Ведь она мне никогда не принадлежала, как я могла её потерять? Тут я ясно осознала: я её забыла. Вот что страшно... Стоя посреди комнаты, я поняла, что забыла даже ни теорию литературы, ни Марусю, а забыла, *о чём она, о чём* эта книга. И именно из-за того, что я не могу вспомнить её *как бы* «содержание» – хоть строчку, хоть образ из неё – именно поэтому я не могу её найти: в смысле вспомнить, *где* я её забыла. Так книга Маруси Климовой поставила меня перед лицом ситуации тотальной невозможности вспомнить место забывания. Очевидно, отсутствие книги мне сказала: пока ты не вспомнишь *меня*, пока ты не вспомнишь, *о чём я*, ты не узнаешь, *где* ты меня *забыла*. Признаться, до этого у меня в жизни таких ситуаций не случалось. Книга меня «сделала». Она выдернула меня из сна, поставила на середину комнаты и сказала: пока ты не вспомнишь, *что* ты во мне забыла, ты не вспомнишь, *где я*. Короче, я попала в сложную ситуацию, где процесс воспоминания предшествует процессу забывания, да ещё и связан с ним каким-то роковым образом. В контексте всего происходящего у меня мелькнула мысль о напрасности всей моей предшествую-

щей жизни по сравнению с этим моментом истины, моментом обращённости ко мне книги, когда книга вышла со мной на связь. Стоит признаться, что такое случается не каждый день, да и вообще такое не случается, я о таком никогда не слышала, может, если только и читала, то в каких-нибудь сюрреалистических романах, да и то книги там редко фигурировали. Я физически оказалась в теоретической ситуации – отсутствие книги обнаружило меня как присутствующую в точке незнания и тем самым удостоверило моё существование. Всё дело в том, как я теперь понимаю, что только в тот момент, быть может, даже впервые, я оказалась *субъектом-в-процессе* – вот что важно. Выйдя со мной на связь, книга обнаружила имитативную структуру гендера, она поставила меня перед выбором невозможной субъективации, перед выбором отсутствия логической необходимости для идентификации, перед радикальной ситуацией невозможности вспомнить. *Моя теория литературы* затеяла со мной эту игру не для того, чтобы я вспомнила, что я в ней забыла, а для того, чтобы я, все же не вспомнив этого, поняла, что на самом деле я не забыла, а потеряла, но вот *что именно* я потеряла – это большой вопрос. Вся эта ситуация с исчезновением книги обнаружила работу механизма недопущения до осознания переживания утраты. Проще говоря, книга, выйдя со мной на связь, открыла мне глаза на процессы куда более важные и глобальные, чем конкретная потеря конкретного человека: она расширила оптику моего зрения до горизонта культурной гендерной меланхолии, возникшей в результате непризнанной утраты возможности переживания чувства к подобному себе. Утратив и оплакав книгу, тем самым обретя её вновь, я действительно поняла, *что именно* я потеряю, повторись это опять.

Как мне кажется, мой предшествующий пассаж очень созвучен мысли Маруси Климовой из тринадцатой главы *Моей теории литературы* о том, что такое явление, как постмодернизм, существует только в тот момент, когда о нём думают, причём – в голове того, кто о нём думает. И что единственное, что может отвлечь человека от всех этих странностей – это трансляция по телевидению фильма *Молчание ягнят*. Я полностью согласна с мыслью Маруси. Просто в тот момент, когда я проснулась, мне нужно было включить телевизор и, тогда бы, конечно, «ничего такого» со мной бы не случилось. Но, опять-таки, по меткому замечанию Маруси Климовой, ничто так не смахивает на орудие пыток древности, как мягкое, удобное кресло с погружённым в него субъектом напротив постоянно включённого телевизора. Другими словами, что ни предприми, везде натыкаешься на какой-то коллапс и безысходность.

В двенадцатой главе своей книги Маруся все же пытается вывести некую формулу жизненного успеха, которую, как мне кажется, необходимо принять на вооружение, более того, рассмотреть её как прямое обращение. Итак: «если тебе всё же удастся выжить, то для успеха в этом мире прежде всего необходимо, чтобы тебе не просто повезло, а очень крупно повезло, причем минимум дважды в одной и той же ситуации».³ Марусе повезло дважды в одной и той же

ситуации: она выиграла зонтик «Нескафе Голд» день в день с юбилеем Солженицына. Действительно, видно, что ситуация одна, а везение двойное, поэтому рассчитывать на продолжение с «Честерфилдом» – это было бы уже проявлением алчности. Везенье настигает тебя, когда уже и думать забыл.

Если всё же попытаться осветить саму книгу, а не мои с ней отношения, то можно определённо и точно, с отсылкой к самому автору, сказать: в книге нет никаких тем. Тем, которые необходимо отдельно выделить и разобрать – подобно теме дуба в романе *Война и мир* или теме танца в романе *Домик в Буа-Коломб*. Ничего подобного в романе *Моя теория литературы* нет и быть не может, так как Маруся Климова – маргинал. Есть только пара глав о Селине и Жене, но это тема любви или дружбы. А такие отношения лучше иметь с известными покойниками.

За что и против чего Маруся Климова? Маруся Климова «за» красоту в отрыве от добра и истины, «против» профессионализма, «за» отсутствие мастерства как всего того, что может иметь отношение и называться искусством. Письмо, как жизненную стратегию, она оправдывает одиночеством и невозможностью в коммуникации высказать себя до конца. Для неё «искусство должно быть сверхчеловеческим и пустым», а писатель – мёртвым и никем везде, кроме жизненного пространства своего творения. Так Тимур Новиков, особенно в последние годы жизни, представлял, да и сейчас представляет собой пустоту как вместилище красоты, что и делает его её гением – гением пустоты. Он даже из прогулки по Невскому мог сделать произведение искусства.

В одной из глав меня привлекли рассуждения Маруси о басне. Вырождение басни как литературного жанра свидетельствует о позитивном разрешении технического прогресса и процесса глобализации. Современному человеку не нужна метафора или аллегория, современный человек не высказывается иносказательно, и иносказательности не усваивает, потому что не понимает. Он идёт в телевизор/интернет и говорит обо всём прямо. СМИ выступают как инстанция прямого действия, и здесь уже не нужны ни вороны на деревьях, ни лисицы с сыром – в пространстве цифрового образа и свободы слова обнаруживается прозрачность смысла. Тогда как в басне всё имеет смысл, смысл функционирует в басне как избыток, что открывает возможность бесконечности толкований и открытости значений. Что тут добавить, ведь все знают, что басня – это всегда про тебя. Более того, басня хитра: она всё про тебя знает, но лишь намекает на твои тайные пороки через цветы, коров, раков и прочую живность и растительность; но намекает не только про тебя, а про современную ситуацию в стране и в мире, стилизуя её под древность. Басня провоцирует паранойю у читателя, потому и опасна, потому и не существует она в XXI веке. Басня уже «отстрелялась» в эпоху сталинского террора: ведь очевидно, что Сталин относился к миру как к басне. Скажем прямо: Сталин жил в басне.⁴ Сегодня на смену басне пришёл звучащий изо всех маршруток отечественный шансон.

Из *Моей теории литературы* я вынесла одну мудрость относительно стратегии общения: разговаривая с кем бы то ни было, представлять себя «Лениным на балконе», «Гebbельсом на ступеньках Рейхстага», а если молчать, то обязательно так же выразительно, как Сталин (тогда ты становишься магом, способным внушать страх и уважение на расстоянии).

И напоследок: книга Маруси Климовой *Моя теория литературы* написана не для каких-нибудь там «баб» или «мужиков», ушибленных «травматическим символическим»,⁵ а для красивых и физически развитых нацболов, грустных, чувствительных людей, уличных музыкантов⁶ и гендерных исследовательниц/телей.

Текстуальное пространство Маруси Климовой функционирует как твоя территория литературного наслаждения. С тем удовольствием, с которым книга пишется, она и отдаётся, отзываясь голосом внутри тебя и оставаясь сама по себе неприсваиваемым остатком печатного издания.

-
- 1 Баба – это имя нарицательное, используемое Марусей Климовой в ткани повествования для обозначения особи с заплывшим жиром лицом и пороссячьими глазками, которая вещает в СМИ о нравственности и Платоне, будучи и членом Аграрной партии, и членом Академии Наук, и навевается в свободное от работы на почте время к Марусе Климовой домой около десяти утра с просветительско-иеговистской миссией. Иными словами: баба = депутат-философ-сектантка.
 - 2 Маруся Климова. *Моя теория литературы* (СПб.: Гуманитарная Академия, 2009), с. 41.
 - 3 Там же, с. 90.
 - 4 Более подробно – там же, с. 152.
 - 5 Жерёбкина И. *Страсть* (СПб.: Алетейя, 2001), с. 208.
 - 6 Радио Свобода: Поверх барьеров. Маруся Климова рассказывает о книге «*Моя теория литературы*». URL: http://www.svobodanews.ru/archive/ru_bz_otb/20091101/896/100.html

Светлана Шакирова. *София Касымова, Трансформация гендерного порядка в таджикском обществе* (Душанбе: «Ирфон», 2007), 230 с.

София Касымова – смелая женщина. Она – одна из немногих в Центральной Азии, кто осмелился анализировать гендерные отношения своей страны (претерпевающей масштабные изменения за последние 15-20 лет) как целостную систему. Немногие исследовательницы решались на подобный шаг. В Узбекистане Марфуа Тохтаходжаева посвятила две свои книги *Между лозунгами коммунизма и законами ислама* (2000) и *Утомленные прошлым* (2001) положению женщин, используя метод линейного исторического анализа. Анара Табышалиева дала краткий историко-культурологический анализ положения женщин в традиционном кыргызском обществе в работе *Отражение во времени* (1997). Было несколько диссертаций со схожими целями,¹ но научных монографий, использующих методы социологического анализа гендерной ситуации в масштабах государства, в Центральной Азии почти не предпринималось.

Это объясняется, во-первых, сложностью изучаемого предмета, его мозаичностью и многослойностью, а во-вторых, некоторых авторов останавливает некоторый страх генерализаций, усвоенный после прочтения постмодернистских текстов из «обязательного списка» по современной социологии.

Однако Софию Касымову этот страх не остановил, и в итоге получилась хорошая книга. Умная, информативная, честная. С ясной методологической позицией автора, что все еще редкость в наше время эпистемологической всеядности, за которой обычно стоит смесь из некритически усвоенного, часто из третьих рук, мейнстрима гендерной социологии 20-10-летней давности.

Название книги – *Трансформация гендерного порядка в таджикском обществе* – показательно, оно перекликается с названиями двух российских социологических сборников, а именно: *Трансформация гендерных отношений: западные теории и российские практики* (Под ред. Л. Попковой, И. Тартаковской. Самара, 2003) и *Российский гендерный порядок: социологический подход* (Коллективная монография. СПб, ЕУ в СПб, 2007). Поэтому можно сказать, что рецензируемая книга продолжает научный диалог, развивая концептуальные подходы, заданные Еленой Здравомысловой, Анной Темкиной, Ириной Тартаковской и др. Тем более, что эти авторы, применяющие структурно-конструктивистский подход, красноречиво показали его плодотворность и релевантность для анализа гендерных отношений в постсоветских обществах. И действительно, в «Введении» к своей книге София Касымова ясно указывает используемую методологию – теории Роберта Коннелла и Энтони Гидденса. Основные понятия этих авторов – «гендерный порядок», «гендерный режим» и «гендерная композиция» – пришли на смену распространенному ранее и, казалось бы, понятному концепту «гендерная структура», который по проше-

ствии времени оказался недостаточным для анализа сложной реальности, коей являются взаимоотношения различных социальных групп женщин и мужчин в разных контекстах и обстоятельствах.

Итак, каков гендерный порядок в Таджикистане? Чем он отличается от гендерного порядка, к примеру, в Узбекистане или в России? Ответы на этот вопрос раскрываются в трех главах монографии, посвященных темам 1) власти, 2) экономики и 3) частной жизни. Причем, третья глава делится на разделы о браке и семье в целом, о многоженстве и многодетности.

Прежде, чем приступить к оценке содержания этих глав, хочу отметить один момент. Предыдущая публикация, редактором которой была София Касымова, называлась *Гендер: традиции и современность* (Душанбе, 2005). Это коллекция довольно больших текстов шести авторов из СНГ (Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан) и немецкой исследовательницы, пишущей о Таджикистане. Название сборника, когда я получила свой авторский экземпляр, поразило незамысловатостью и лаконичностью, за которой крылась то ли теоретическая невинность, то ли желание за простым заголовком дать читателю представление о главной идее книги. И критика этой книги не заставила себя долго ждать. В октябре 2006 года московская исследовательница Мадина Тлостанова в статье «Зачем обрубать ноги, которые не вмещаются в западные туфли?»: неевропейские бывшие колонии СССР и современная колониальная гендерная система» раскритиковала подобную простоту и в выборе методологии анализа, и в выборе заголовка книги. Тлостанова написала тогда: «Большая часть гендерных дискурсов постсоветских стран Центральной Азии и Кавказа развивается в рамках упрощенной модели традиция/модернизация. Они строятся на механическом применении западного феминизма к местному материалу. Сборники статей, полевые исследования, устные истории, публикующиеся в последнее время в этих регионах, даже своими названиями и структурой нередко выдают развивательскую парадигму, основанную на изобретении модерности и традиции как ее темной стороны. Так, в 2005 году в Душанбе вышел сборник с характерным названием: *Гендер: традиции и современность*. Но неожиданно в книге возникают элементы, противоречащие простой схеме – традиция/современность. Сегодня экономическая глобализация толкает самых бедных и наименее модернизированных женщин в Таджикистане к нередко насильственному и не желаемому гендерному равенству и даже женскому экономическому превосходству над мужчинами».² Не останавливаясь на деталях критики Тлостановой,³ замечу, что сам факт ее появления очень позитивен. Он означает, что интеллектуальные продукты из Центральной Азии начинают приниматься всерьез в странах СНГ не только как очередные импликации или примерки современных западных подходов, транслируемых нам на русском языке российскими исследователями, но и как попытки выстроить первые самостоятельные (пусть не всегда имеющие

законченный вид) схемы объяснения гендерных процессов без обязательных инвектив в сторону исламского традиционализма и безусловного приветствия евроцентристской, ориенталистской точки зрения на наш регион.

Нелишне в связи с этим задать себе вопрос: не воспроизводим ли мы, гендерные исследователи постсоветской Средней Азии, ориенталистскую парадигму? Ведь апеллируя к наихудшим формам дискриминации женщин в целях конструирования легитимной предметности нашей деятельности, мы добавляем очередные кирпичи в стену ориентализма, выстроенную западными исследователями для простоты понимания чужих культур. Пролиферация тематики воровства невест в Кыргызстане, самосожжения женщин в Узбекистане, браков по сговору родителей в Таджикистане, трафика женщин в Казахстане – не есть ли следование ориенталистским клише и штампам? В этом смысле книга Софии Касымовой – достойный пример того, как можно, не умаляя остроты перечисленных проблем, вести, тем не менее, спокойный и откровенный разговор о совокупности всех изменений – негативных и позитивных – в сфере взаимоотношений полов.

Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, касается символического капитала западного знания, образования и английского языка в гендерных исследованиях и гендерном анализе в странах СНГ. Для международных организаций, но не для местных ученых, несомненен статус и легитимность обязательных международных экспертов по гендерным вопросам, осуществляющих кратковременную дискурсивную интервенцию в местную ситуацию наших стран. Приезжая на одну неделю, эксперт сначала задает наивные вопросы о местной ситуации, демонстрирующие отсутствие первоначальных знаний об истории, географии и культуре страны, а потом дает рекомендации местным политическим и административным структурам. Аналогичное использование фондами местных экспертов с более скромным символическим капиталом и статусом выглядит как дань игре с двумя переменными: русский язык и знание местных реалий выступают плюсом, но отсутствие западного образования, английского языка и опыта проживания в ареале демократии становится символическим минусом, невосполнимой нехваткой, делающей местных ученых более дешевой рабочей силой на международном рынке аналитических услуг.

Тем важнее появление книг, подобных *Трансформации гендерного порядка...*, изданных не по заказу и при финансировании международных фондов, а за счет сил и средств автора.

Перейду теперь к краткому обзору содержания. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эту книгу читать интересно с любого места, с любой страницы, так как даже если и кажется, к примеру, что о гендерном порядке в СССР ничего нового сказать уже невозможно, тем не менее, и здесь вас ждут находки и неожиданности. В главе о советской гендерной политике читатель найдет необычный

вывод: «Тоталитарный режим советской власти не мог допустить разрушения основ гендерной иерархии. Это явилось бы началом разрушения всей политической системы...» (с. 48). Правота этого, на первый взгляд неортодоксального вывода подтверждается рядом аргументов и цитат из И. Жеребкиной и И. Чикаловой. София Касымова делает вывод о том, что в Таджикистане, как и в СССР в целом, в сфере гендерных отношений царил двойная мораль: модернизм в общественной сфере и традиционализм – в частной.

Страницы 61-68, где даётся резюме первой главы, можно читать и как конспект лекции по теме «Гендер, власть и социальный порядок», и как самостоятельную научную статью, построенную на умелом анализе с использованием грамотного языка современной социологии. А еще эти страницы можно читать как убедительное объяснение, почему гендерные отношения в традиционном обществе так живучи, неизменны и выгодны как мужской власти, государству, так и самим женщинам, несмотря на кажущуюся угнетенность, отсутствие голоса и доступа к ресурсам.

Мне, как исследовательнице из Казахстана, интересно было узнать авторскую оценку гендерной политики таджикского государства за последние годы. По словам автора, «на данном историческом этапе государство выступает в качестве сильного агента гендерной политики, оно способно специальными мерами не только значительно повлиять на выравнивание гендерной асимметрии в политике, общественном труде, но и в целом определить основные направления развития гендерных отношений в обществе» (с. 68). Как бы мне хотелось написать то же самое о государственной политике в моей стране! Несмотря на официальные успехи, госаппарат в Казахстане и его политика, на мой взгляд, недостаточно влияют на развитие гендерных отношений в обществе. Эти отношения в жизни старательно избегают госрегулирования, какие бы толковые стратегии и нацпланы ни принимали правительство, президент, международные организации и НПО.

Интересно читается вторая глава «Гендерное разделение труда в сфере публичной экономики и домохозяйства». Обилие фактов здесь управляется четкой аргументацией, интереснейшие цитаты из интервью женщин и мужчин сопровождаются убедительной статистикой, а само повествование на хорошем русском языке (что тоже немаловажно в условиях постколониальной истории нашего региона), с четкой авторской позицией, нередкими эмоциональными замечаниями и риторическими вопросами, не снижающими научный статус текста, выгодно отличает книгу от других публикаций на гендерную тематику последних лет.

Касымова – скрупулезный автор с высокой культурой библиографической работы, ссылок, объяснения терминов, понятий, имен. Трудно не заметить множество источников советского времени и последних десятилетий, которые автор изучила в ходе работы над книгой.

Что касается третьей главы «Гендер и сфера частной жизни» – это, безусловно, наиболее эмпирически насыщенная, эмоциональная и прочувствованная часть монографии. Даже если вы прожили всю жизнь в Таджикистане или думаете, что знаете о таджиках всё или почти всё, если вам кажется, что семейно-брачные и сексуальные отношения в азиатских обществах описаны во множестве публикаций, все равно прочтите эту главу. Не пожалеете. Казалось бы, после обширного исследования Анны Темкиной «Гендерный порядок: постсоветские трансформации (Северный Таджикистан)», опубликованного в упоминавшемся сборнике *Гендер: традиции и современность* (2005), выстраивать новые концептуальные схемы объяснения приватной жизни в азиатском обществе – дело не из легких. София Касымова, по-моему, с этой задачей справилась блестяще. Чего стоит, к примеру, такой вывод в разделе о многоженстве: «Многоженство становится ресурсом выживания не только для женщин, но и для мужчин; можно сказать, что расширился социальный круг, в котором оно востребовано, и в этом заключается один из главных ответов на вопрос, почему оно обрело «второе дыхание» в наши дни. В то же время, очевидно, что практика многоженства в Таджикистане сейчас всё более сближается с практикой гражданских браков в европейских странах – с той лишь разницей, что первая воспринимается как наследие консервативной мусульманской культуры, вторая – как продукт постиндустриальной цивилизации» (с.190). Мне кажется, из данного вывода становится понятной мысль автора на протяжении всей книги. Нет ничего особенного в таджикском гендерном порядке в сравнении с другими так называемыми традиционными, азиатскими, восточными, постколониальными обществами, но трансформация этого порядка идет в русле неумолимых глобальных культурных изменений, от которых не оградят ни снежные горы Тянь-Шаня, ни рестрикционные практики клерикалов, ни критика постколониальных теоретиков... Но это тема отдельной статьи.

И, наконец, чтобы завершить обзор содержания книги, добавлю, что последний раздел – о многодетном материнстве – также покажется читателям не менее интересным, чем все остальные. Оказывается, культ многодетности в таджикских семьях уже теряет былое очарование, что объясняется как экономикой, так и изменением сексуальной морали.

Любая рецензия, как известно, должна содержать не только похвалы, но и разумную критику. Признаюсь, я стою перед сложным выбором. Что можно было бы назвать недостатками этой работы? Книга издана довольно добротной, отнюдь не страдает обилием опечаток или ошибок, как некоторые современные публикации «по гендеру». Возможно, логично было бы закончить столь обширный анализ главой о «перспективах гендерных отношений в Таджикистане», как это практикуется в научных диссертациях на постсоветском пространстве. Думаю, и эта задача не была самоцелью автора, так как наше будущее – это

плавное продолжение настоящего, а о нем С. Касимова рассказала исключительно подробно.

Немного поразмыслив, я поняла, что отличает эту книгу от других. Наверное, это нескрываемая идейная преданность автора своему научному руководителю – Анне Темкиной. Аутентичность языка и стиля, близость теоретических позиций, даже вкус, аромат и послевкусие повествования – всё говорит о том, что в Таджикистане у петербургских корифеев гендерной социологии А. Темкиной и Е. Здравомысловой появилась верная ученица и продолжательница. С чем мы и поздравляем всех троих, да и всё сообщество гендерных исследователей СНГ. В наше время вынужденного индивидуализма, все более редких неvirtуальных контактов между учеными, изолированности от центров научных дискуссий, исследователям из неевропейских регионов СНГ удача найти духовных вдохновителей выпадает не всегда. И данная книга – прекрасное исключение.

-
- 1 Например, Р.Б. Сарсембаева, *Гендерные аспекты системных социально-экономических реформ в Казахстане: социологический анализ*, Автореферат дисс. докт. социол.н. (Алматы, 2005).
 - 2 <http://www.genderstudies.info/>
 - 3 К примеру, М.Тлостанова пишет: «Большая часть гендерных исследований, возникших в последнее десятилетие как в этих регионах, так и о них, написанных как колонизированными, гендерно отмеченными субъектами, так и западными феминистками и активистками [Вигманн 2005, Темкина 2005, Harris 2000, Тохтахождаева 1996, Соловьева 2006, Абасов 2006] не замечают колониально-имперской проблематики и строятся, в основном, на прогрессистской модели развития, основанной на простом противопоставлении архаических гендерных дискурсов (здесь переосмысленных как исламские) и модернизированных западных моделей освобождения женщины от патриархальной системы. Но эти пространства осложнены тремя моделями модернизации/колонизации – российской, советской и сегодня – неолиберальной, которая проецируется теперь уже напрямую, без российской/советской медиации. Во всех трех случаях, однако, эпистемологические основы остаются теми же самыми – это западноевропейские категории, системы ценностей и парадигмы, тогда как космология, этика и эпистемология коренных народов неевропейских российских/советских колоний игнорируется».

Замза Кодар. Делая гендер в Казахстане: деколониальный поворот?

Кодар А. А., Зувев Ю. А., Досымбаева А. М., Торланбаева К. У., Великие дочери Великой Степи. Справочник. I том. (Алматы: Умай, 2003), 264 с.

Как известно, возникшие на Западе гендерные исследования как университетская дисциплина уже около двадцати лет являются предметом специального интереса и для исследователей бывшего СССР. Как считают многие постсоветские исследователи, начавшие заниматься проблемами гендерного равенства/неравенства в социально-политическом публичном дискурсе в начале 90-х, распад Советского Союза не только сделал видимой проблему гендерного неравенства в постсоветском обществе, но само гендерное неравенство, вызванное новым постсоветским экономическим неравенством, также послужило причиной распада бывшего СССР. В частности, по мнению Елены Гаповой, «... причиной распада СССР явилось вызревание «классов» и замена статусного неравенства экономическим, т.е. борьба различных типов элит. Гендер же есть то наиболее элементарное социальное разделение, вне которого невозможны ни национальные, ни классовые преобразования, поэтому реконфигурация гендерных отношений с необходимостью в них присутствует. Это последнее важно для понимания причин слабости постсоветского женского движения, действующего в рамках «других» политико-социальных проектов». ¹ Осознание проблемы возникновения гендерных исследований в Казахстане как одной из стран бывшего СССР, причин гендерного неравенства в нашем обществе, а также возможных путей их преодоления через практики женских инициатив и послужило поводом для постановки вопроса в данном тексте: «А как мы делаем гендер в Казахстане?»

Гендерные исследования в Казахстане институционально оформились с начала 90-х годов. Первой организацией, публично поставившей проблему гендерного равноправия, использовав при этом понятие «феминизм», стала созданная в 1993 году *Феминистская лига*. Появление годом позже сразу двух монографий (Наталья Усачева *Женщина: ее статус, судьба и образ в мировой культуре* и Зия Мукашев *Женские образы как символы культуры*), посвященных женской проблематике, знаменовали на тот момент пока скорее любительский, чем научный интерес к дисциплине гендерные исследования.

В то же время научная составляющая дисциплины все более рефлексировала над собственными основаниями, находясь в ситуации *между*: с одной стороны, под влиянием западной феминистской методологии, а с другой – под влиянием стратегий поиска собственного/национального гендера и других, отличающихся от западных, методологических оснований истории возникновения и развития гендерных исследований в Казахстане. Как заметила Раушан Сарсенбаева, «Современная гендерная система казахстанского общества формируется и находится

под влиянием факторов исторического порядка: а) влияние особенностей гендерных отношений традиционного казахского общества; б) опыт и ценности советского типа эмансипации женщин; в) экспорт западного опыта и идей решения гендерного вопроса. В современной гендерной системе сочетаются черты различных типов гендерного «порядка».² Именно в ситуации поиска методологических оснований «собственного»/национального гендера в Казахстане за период с 1995 по 2009 годы было защищено более 30 кандидатских диссертаций и 4 докторские диссертации по гендерной проблематике. За это время были проведены I съезд Женских и Гендерных НПО Казахстана (7-8 ноября 2008 года), примерно более 30 конференций и 8 Летних школ: «Гендерные исследования: с Запада на Восток» (14-19 июля 2002 г.), «Гендерные проблемы в мире и в Казахстане» (7-14 июля 2002 года), «Человеческое развитие: теория и практика» (июнь 2003 года), «Равные права и возможности мужчин и женщин» (2003), «Гендерное образование: контекст, технология и политика» (7-9 июля 2006 г.); еще 3 летние школы гендерного равенства для юношей и девушек были проведены с 2001 по 2002 годы Гендерным Информационно-Аналитическим Центром (ГИАЦ).

В настоящее время в Казахстане, кроме пионерской организации, каковой до сих пор остается активно работающая *Феминистская лига*, также работают и несколько научно-исследовательских Гендерных центров: 1) Центр Гендерных исследований (ЦГИ), созданный в 1998 году; 2) НИИ социальных и гендерных исследований при Казахском Государственном Женском Педагогическом Институте, созданный в 2001 году; 3) Центр Гендерного Образования при Казахском Национальном Университете им. аль-Фараби, созданный в 2005 году. Каждый из этих Центров имеет веб-сайты, издает монографии и статьи, проводит активистские акции. Кроме того, создаются Гендерные центры и в регионах Казахстана. Например, в Караганде работают два Гендерных центра: Гендерный Информационно-Аналитический Центр (ГИАЦ) и Центр гендерных исследований «Нисса».

Благодаря деятельности этих Центров в этой научно-практической дисциплине возникли, на мой взгляд, следующие направления исследований: социополитическое, историко-философское, этнопсихологическое. *Социополитическое*: Айткуль Самакова, Раушан Сарсенбаева, Канапия Габдуллина, Зауре Жаназарова, Мансия Садырова, Рустем Кадыржанов, Назым Шеденова, Бибигуль Кылышбаева, Жанар Нурбекова, Эльмира Сатыбекова, Зульфия Валитова, Сауле Биекенова, Гульжан Алимбекова, Гульнара Кенжакимова, Куралай Авсыдыкова, Гульнафис Абдикерова, Сергей Коновалов, Гулим Досанова, Гулнар Андиржанова, Алия Нысанбаева, Индира Сулейменова, Айнур Сыдыкова, Галия Хасанова, Юрий Зайцев, Гульсара Тленчиева, Мара Сеитова, Майгуль Нугманова и др. *Историко-философское*: Грета Соловьева, Наталья Усачева, Светлана Шакирова, Александр Хамидов, Гульнар Адамбаева, Дана Жакупбекова, Жанат Баймухаметов, Ауэзхан Кодар, Замза Кодар, Сауле

Карпыкова, Закиш Садвакасова, Айгуль Есимова, Факия Шамшиденова, и др. *Этнопсихологическое*: Сатыбалды Джакупов, Нуриля Шаханова, Назира Нургазина, Майра Кабакова, Маргарита Ускенбаева, Зульфия Балгимбаева, Назым Сатыбалдина, Алия Байздрахмонова, Ирина Буклова, Гульжан Мамаева, Карлыгаш Токтыбаева, Гульназ Ахметова, Сараш Конырбаева и др. Наиболее удачными для развития гендерной науки в Казахстане, на мой взгляд, являются книги: Натальи Усачевой *Женщина: ее статус, судьба и образ в мировой культуре* (Алматы, 1994), Греты Соловьевой *Гендерные исследования: мировоззрение и методология* (Алматы, 1998), Раушан Сарсенбаевой *Рыночная трансформация казахстанского общества: опыт гендерного анализа* (Алматы, 2004).

Одним из наиболее удачных проектов, который базируется, на мой взгляд, на новых теориях постколониальных исследований и теориях деколонизации, идею которых выделила Раушан Сарсенбаева, является проект, инициированный Казахским Государственным Женским Педагогическим Институтом *Великие дочери Великой Степи* (2003). Я бы назвала эту книгу проектом национального феминизма в рамках новых дискурсов постколониальности и деколонизации. Напомню, что цель дискурсов постколониальности и деколонизации – репрезентировать западной академии незападные типы дискурсов, то есть реформировать их интеллектуальное и эпистемологическое *исключение* из западной академии (и эту репрезентацию осуществляют действительно незападные классики – Франц Фанон (*Черная кожа, белые маски*), Эдвард Саид (*Ориентализм*), Гайатри Спивак (*Могут ли угнетенные говорить?*), Хоми Баба (*Локализация культуры*)) и др. Именно Саидом была выдвинута идея о том, что “Восток” как понятие сконструирован “Западом” по схеме знания-власти Мишеля Фуко. Формально постколониальные исследования возникают на основе возникшей в начале 80-х годов прошлого века *Группы изучения угнетенных* (на основе южно-азиатских исследований), исследования которой были направлены против “элитистской историографии” и против так называемого западного “гуманизма”, трактующего человеческую природу в универсалистских терминах, а не в терминах культурного различия. На мой взгляд, книга *Великие дочери Великой Степи* репрезентирует феминистскую историю женщин в Казахстане именно в терминах культурного различия. В ней постулируется, что история фактически всегда была историей мужчин, и женщины в ней были невидимы: “Женщины, оставались незамеченными главным образом потому, что казалось, будто они, их опыт, их деятельность, их сфера жизни не представляют исторического интереса”.³ Проект *Великие дочери Великой Степи* направлен на то, чтобы способствовать репрезентации женщин-степнячек, женщин-кочевниц, воспетых в том числе в философии Жюль Делеза за номадический отказ от так называемой репрессивной идентичности, вписывающий их всего лишь в единственный канон традиционно понимаемого западного женского.

По замыслу создателей, энциклопедия должна охватывать огромный временной период – с бронзового века до наших дней. К сожалению, пока вышел только первый том, заканчивающийся древнетюркским периодом. Но это именно тот исторический срез, когда незападное, а именно *тюркское* культурное начало (в том числе и в качестве номадической субъективности женщин-кочевниц) было господствующим в мире, который не имел коннотации “западного”. Данный акцент книги переворачивает – в рамках современных теорий деколонизации – традиционно понимаемые в западной историографии отношение власти между (западным) колонизатором и (незападным) колонизируемым как “циркуляцию желаний вокруг травматической сцены подавления”. Напротив, в книге доказывается, что национализм в процессе деколонизации становится транзитивным, а именно реализует желание как экстра-желание замалчиваемого “другого” (в данном случае тюркских “дочерей Великой Степи”), тем самым уходя от ситуации насилия и традиционной диалектики раба и господина с ее бинарными оппозициями запад-восток. Поэтому, кроме исторических персоналий, в книге нашли отражение такие женские “другие”, как, например, тюркские богини: Умай – богиня плодородия и деторождения, Табити – богиня домашнего очага, покровительница огня, Анахита – богиня вод, плодородия и многочадия, Сиванму – богиня животного и растительного плодородия, богиня деторождения и др. На мой взгляд, данный акцент книги отражает философскую структуру действия как трансактивности: функционирование женской тюркской субъективности не просто в бинарных терминах активности/пассивности, а в небинарных делезовских терминах “становления-женщиной”.

Как мне кажется, проект данной книги потому является важным для развития национальных гендерных исследований в Казахстане, что отказывается от репрессивной практики выделение национального Другого в качестве экзотического (“экзотизация этничности”), тем самым убирая принцип гендерного неравенства в трактовке национальной истории Казахстана. Кроме того, в книге *Великие дочери Великой Степи* предлагаются более гибкие версии национальной истории, соответствующие основным тезисам современных феминистских теорий деколонизации.

Для дальнейшего развития гендерных исследований в Казахстане, на мой взгляд, актуальным остается следующий вопрос: возможно ли на самом деле путем обращения к теориям постколониальности и деколонизации как перспективному теоретическому проекту игнорировать социальное неравенство в нашем регионе? Я полагаю, что книга *Великие дочери Великой Степи* может способствовать уточнению развития процессов гендерного становления в нашем регионе. Ведь ситуация, связанная с развитием гендерных исследований у нас в стране, может иметь весьма драматические последствия, если не учесть того обстоятельства, что в условиях глобализации именно женская деколонизованная субъективность может быть матрицей (лат. *matrix*) новых возможных культурных

и социальных комбинаций и ре-комбинаций гендерных отношений. Опираясь на современные теории деколонизации, можно говорить о том, что 1) именно женская деколониальная субъективность не является производной ни только от мужской, но и от западной субъективности; и что 2) способы жизни степных казашек выгодно отличались от способа производства гендерных технологий, какие имели место в оседлой культуре центральноазиатских народов 19-20 веков из-за отсутствия в них той ставшей позже всеобщей гендерной идеологемы, когда противопоставление мужского и женского стало иметь силу кажущейся непреодолимой бинарной оппозиции.

-
- 1 Гапова Е. «О гендере, нации, классе в посткоммунизме», *Гендерные исследования*, №13, 2005, с.101.
 - 2 Сарсенбаева Р. Б. Автореферат диссер. ... докт. социолог. наук. *Гендерные аспекты системных социально-экономических реформ в Казахстане: социологический анализ*. (Алматы, 2005), с. 17-18.
 - 3 Бок Г. «История, история женщин, история полов», *Thesis*, №6, 1994, с. 172.

Ольга Плахотник: Феминистская философия образования «под любым другим именем».

Гендерна педагогіка: Хрестоматія / За ред. В. Гайденко (Суми: Університетська книга, 2006)

Исторически сложилось так, что в последнее время я пишу для *Гендерных исследований* рецензии на книжки, посвящённые, в основном, тематике образования (постоянные читатели *ГИ* могут в этом легко убедиться). Не то чтобы я была единственным экспертом в этой области, но меня эта тема чрезвычайно интересует: я отслеживаю все новые издания и, так или иначе, рефлексую на эту тему – в том числе и в виде рецензий.

И все эти несколько лет я чувствовала большую неловкость оттого, что практически все книги про «гендер и образование», попадавшие в мои руки, мне, в основном, не нравились. Что-то меня постоянно не устраивало в этих книжках – так или иначе. Я пыталась найти ответы на вопрос «что именно здесь не так»: подбирала аргументы, искала ссылки на «классиков» (это тоже

очень полезная работа, очень развивающая). Но ситуация постоянной неудовлетворенности нарастала, и, в конце концов, я стала сомневаться в себе: если всё вокруг кажется «не так», возможно, пора обратиться к психотерапевту или, как минимум, заподозрить, что «не так» не с окружающей действительностью, а с моим «внутренним миром».

И вот – радость: я встретила, наконец, книгу, которая практически полностью совпала с моими представлениями о том, как нужно освещать гендерную проблематику в образовании. Поэтому написание этой рецензии, как никогда ранее, сопровождается высокими положительными эмоциями и переживаниями: мне очень понравилось то, о чём я напишу далее.

Но сначала – небольшое предварительное разъяснение. Значительный массив литературы по гендерной проблематике в образовании издаётся в Украине (и не только, но украинскую ситуацию я знаю лучше) в рамках так называемой «гендерной педагогики».¹ Большинство подобного рода изданий крайне уязвимы для критики с методологической точки зрения: мне вообще представляется крайне проблематичным механическое соединение позитивистской науки педагогики с так называемым «гендерным подходом». Например, одна из таких статей называет гендерную педагогику «новой образовательной технологией»² – то есть это такая интересная (модная) частность, которую просто добавляют (как специи на кухне) к незыблемому фаллическому монолиту «педагогики» и получают новое «блюдо».

К сожалению, таких книг, статей и диссертаций слишком много. Я всегда очень критически относилась к подобного рода литературе, о чём писала и пишу в своих собственных исследованиях. И я уже отчаялась найти в этом потоке «гендерной педагогики» что-то хоть немного соответствующее критическому духу гендерной теории как таковой.³ Чтобы отмежеваться от «гендерной педагогики» в указанном смысле слова, для себя я назвала область пересечения гендерной теории и сферы образования «гендерной/феминистской философией образования». Собственно, в американской традиции это вполне привычное наименование.⁴ Но, повторяю, долгое время я оставалась одиночкой в своих теоретических убеждениях.

Однако, как выяснилось, в 2006 году в Украине была опубликована книга, маркированная всё тем же сакраментальным словосочетанием «гендерная педагогика», но резко выделяющаяся на фоне остальной литературы своим высоким критическим потенциалом и методологической последовательностью. Это не учебник и не монография: данная книга представляет собой сборник статей на украинском языке, написанных западными, украинскими и российскими авторами. Задача хрестоматии определена следующим образом: показать «гендерную педагогику как активную отрасль, где процесс создания нового знания и дискуссии не прекращаются; как дисциплину, пребывающую в процессе становления, следовательно, являющуюся критической по отношению к самой себе».⁵

Интересно, что в предисловии к этому сборнику его составитель и редактор Виктория Гайденко называет гендерную педагогику «новым направлением <...> в философии образования». ⁶ Я ликовала: это уточнение показалось мне чрезвычайно важным в контексте вышеприведённой критики позитивистской педагогики и попыток присвоения ею «гендерного подхода», приводящих в итоге к искажению сущности гендерной методологии и её дискредитации.

Кратко о хрестоматии. Она состоит из нескольких разделов – «Методология гендерных исследований», «Психология половых и гендерных различий», «Гендерная социализация», «Гендерные стереотипы» и др. Каждый раздел содержит несколько текстов вполне «читабельного» формата и содержания, что позволяет с уверенностью использовать этот сборник в качестве учебного пособия для студентов.

Однако наиболее интересным в этой книге представляется собственно подбор статей. Например, в разделе с «казённым» названием «Гендерная педагогика в контексте современных педагогических направлений» все три текста из трёх освещают тематику «критической педагогики» (статья В. Гайденко о П. Фрейре; статья А. Жиру о постмодернистских политиках в образовании; обзор современных теорий образования, включая феминистские, в статье С. Джексон). Этот очень важный (и очень правильно составленный, на мой взгляд) раздел задает концептуальную канву для всех последующих текстов – и это канва критической теории, но никак не «педагогики» в её советско-постсоветском формате.

Вы спросите – а что, может быть иначе? Да запросто! Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно пролистать любую другую украинскую книжку по «гендерной педагогике», где «гендерная социализация» и «половая социализация» используются просто как синонимы ⁷ и где ключевые идеи «гендерного подхода к воспитанию» обнаруживаются (в результате археологической настойчивости исследователей) в концепциях адептов советской педагогики А. Макаренко и В. Сухомлинского. ⁸

Очень интересными и насыщенными выглядят в анализируемой книге разделы о гендерной социализации и гендерных стереотипах. Собственно, если рассматривать эту хрестоматию как учебное пособие для студентов, то задача именно упомянутых разделов состоит в предоставлении эмпирических доказательств и иллюстраций различных аспектов гендерного порядка в образовании. В указанных разделах собраны действительно яркие и интересные статьи, мотивирующие к собственным дальнейшим размышлениям и исследованиям. Например, такие: «Как создается гендерное тело: практики дошкольных заведений» К. Мартин; «Девчонки-Барби против “Морских чудиц”»: дети создают гендер» М. Месснера; «Дети, гендер и социальная структура: анализ содержания писем к Санта Клаусу» Д. Ричардсона и К. Симпсона; «“Мультиплицированная” молодежь, или Диснейфикация детской культуры» А. Жиру – и другие. Входят в эти разделы и украинские и российские исследования школьных учебников и дошкольной детской литературы.

Несколько текстов представляются менее удачными для этой книги – например, статья М. Рубчак о Юлии Тимошенко (интересная и провокативная сама по себе) вряд ли выдерживает «испытание временем» в силу довольно узкой контекстуальности. Не вполне понятны мотивы включения в хрестоматию «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»: ведь если это книга для украинских читателей, то было бы более естественно поместить в приложение текст Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин» (или хотя бы раздел из Закона, посвящённого образованию). И хотя я понимаю намерения составителей показать гендерную теорию как область междисциплинарных исследований, однако с решением о включении в хрестоматию вышеупомянутых текстов можно поспорить.

Тем не менее – книга удалась. Спасибо редактору (а также переводчице и автору нескольких статей) Виктории Гайденко, спасибо *Network of East-West Women*, поддержавшей издание этой хрестоматии. И, наконец, спасибо книжке с весьма конформистским названием *Гендерная педагогика*, которая по сути является прекрасным учебным пособием по феминистской философии образования – и по форме, кстати, тоже: именно так, на мой взгляд, то есть как сборник или учебное пособие, но не как фаллический «учебник» и должно выглядеть именно феминистское учебное пособие по гендерным исследованиям.

-
- 1 См., например: Кравець В. *Гендерна педагогіка: Навчальний посібник* (Тернопіль: Джура, 2003); Говорун Т., Кікінежді О. «Гендерна ідеологія у навчально-виховному процесі», *Освіта і управління*, №4 (2003), с. 56–68; Северина С. О. «Розвиток гендерної освіти в школі», *Теоретичні й прикладні проблеми психології*, №1(9) (2005), с. 135–141; Цокур О., Іванова І., «Гендерна педагогіка – нова освітня технологія». URL: <http://osvita-ua.net/school/upbring/1657> – и др.
 - 2 Цокур О., Іванова І. «Гендерна педагогіка – нова освітня технологія». URL: <http://osvita-ua.net/school/upbring/1657>.
 - 3 Справедливости ради хочу отметить, что частично этому критерию соответствует новая книга российской исследовательницы Л. Штылёвой (Штылёва Л. В. *Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ* (М.: ПЭР СЭ, 2008)).
 - 4 См., например: Martin J. R. *Changing the Educational Landscape: Philosophy, Women and Curriculum*. Routledge, 1994; WEINER G. *Feminism in Education: an Introduction* (Open University Press, 1994), и др.
 - 5 *Гендерна педагогіка: Хрестоматія* / За ред. В. Гайденко (Суми: Університетська книга, 2006), с. 8.
 - 6 Там же, с. 7.

- 7 Например, здесь: Кравець В. *Гендерна педагогіка: Навчальний посібник* (Тернопіль: Джура, 2003).
- 8 Например, здесь: Говорун Т., Кікінежді О. «Гендер у соціально-психологічному вимірі: Частина 1». URL: <http://helsinki.org.ua/index.php?id=1200305760>.

Ольга Плахотник. Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. (К.: ПЦ "Фоліант", 2004), 387 с.

У этой книги есть предыстория, и она такова. Весной 2004 года Министерством науки и образования Украины (при поддержке Канадско-украинского гендерного фонда) был объявлен конкурс учебных программ по гендерной проблематике. Планировалось, что одним из результатов указанного конкурса станет отбор лучших учебных программ, опубликование их в виде хрестоматии и распространение среди высших учебных заведений Украины. Собственно, это и произошло. Хрестоматия издана тиражом 1500 экземпляров в виде увесистого фолианта в красивой красной твердой обложке, напечатанного на хорошей бумаге. Более того, она успешно распространена среди украинских университетов и академий (по крайней мере, поисковик *Google* свидетельствует о ее наличии в базе библиотек разных вузов во всех регионах Украины). А вот какой от этой книги будет прок – это вопрос. Я вернусь к нему после краткого описания данной Хрестоматии.

Всего в этот сборник вошли 15 вузовских учебных программ (плюс инструкция от Министерства науки и образования относительно того, как эти самые программы правильно писать с технической точки зрения). Из них 3 программы названы Победителями Всеукраинского конкурса учебных программ по гендерной проблематике 2004 года (Говорун Т. В., Кравець В. П., Кикинежди О. М. Гендерная психология и педагогика, с.9-43; Стрельчук Н. В. Трансформационные процессы в постсоциалистических странах Европы и положение женщин, с.209-245; Куценко В. О. Гендер в сферах общественной жизни и защите общества, с.297-329); 7 программ названы Лауреатами этого же конкурса. Оставшиеся 5 просто включены в Хрестоматию.

Первое, на что я хотела бы обратить специальное внимание – что все программы, представленные в этой книге, очень разнородны. Например, по объему: некоторые из них занимают 30-40 страниц, другие – 15-20. Интересно, что у самой короткой программы (6 страниц основного текста) аж 4 автора!

Кроме того, тематически программы отражают разные области знания также крайне неравномерно. Так, из 15 программ 6 посвящены педагогической или психолого-педагогической проблематике; по 2 программы – проблематике права и трудовых отношений, по 1 программе – проблематике литературоведения и охраны здоровья. Одна программа из предложенных выделяется более широким тематическим охватом – программа О. Кись «Гендерные студии», предлагающая «панорамное видение проблем гендера».¹ В то же время в сборнике совершенно отсутствуют гендерные программы по социологии, социальной психологии, истории, антропологии, этнологии и другим областям академического знания. Почему?

Третий парадокс неоднородности отражен в географическом критерии: если руководствоваться именно им, то у неосведомленного читателя может создаться впечатление, что центрами украинского гендерного университетского образования являются города Тернополь (3 программы) и Сумы (2 программы). Киев, Харьков, Одесса и Львов представлены каждый 1 программой. Полными аутсайдерами в области гендерного университетского образования выступают Восточная и Северная Украина – оттуда не представлено ни одной программы.

Анализировать причины указанных разнородностей крайне сложно: мы не знаем, сколько программ, каких и откуда поступили на конкурс вообще. Также мы вряд ли узнаем, кто были членами жюри конкурса, и каковы были критерии оценивания. Есть соблазн формулировать вопросы и гипотезы, например, почему резко преобладают программы по педагогике и психологии? Почему так много программ из Тернополя? Но, к сожалению, оснований для каких-либо выводов недостаточно: мы можем лишь подержать в руках и пролистать только результат – указанную Хрестоматию.

Однако некоторые вопросы можно сформулировать и по отношению к этому результату. Например, первый вопрос: почему книга называется *Хрестоматия учебных программ по проблемам гендерного развития*, а предшествовавший ей конкурс – «Всеукраинский конкурс учебных программ по *гендерной проблематике*» (курсив мой – О. П.)? Кроме того, некоторые программы из этой книги вызывают серьезные вопросы методологического характера. Например, у меня лично множество вопросов вызвала программа «Теория и практика внедрения гендерного подхода в дошкольной педагогике» (авторы С. П. Нечай, Н. П. Шевцова и Л. М. Тригуб, с.129-145). Эта программа страдает постоянной подменой понятий «гендерное воспитание» и «полоролевое воспитание», причем к концу программы удельный вес «полоролевого воспитания» возрастает. Создается впечатление, что авторы, используя известную закономерность, что лучше запоминается начало текста, «примешали» терминологию «гендера» к вводной части своего произведения. А на конец вообще «махнули рукой» – вплоть до того, чтобы в методических указаниях так и написано: «В работе по формированию у детей элементарных математических представлений желатель-

но дифференцировать задания для мальчиков и девочек. Например: «Выложи столько кубиков, сколько кукол» (девочкам); «Выложи столько кубиков, сколько машин» (мальчикам).²

Вот вам и весь гендер в дошкольной педагогике. Напомню, что эта программа является Лауреатом конкурса.

Другая проблема, имеющая прямое отношение к нескольким программам из Хрестоматии, – это вопрос исторической перспективы гендерного подхода в образовании и воспитании. Мне до сих пор не понятно, можем ли мы именовать «гендерными аспектами» образования и воспитания рассуждения мыслителей прошлого, оперирующих понятием «пол» на основе эссенциалистского подходе к половой дифференциации?

Программы из рецензируемого сборника предлагают совершенно разные оценки работ выдающихся теоретиков от педагогики. Например, в программе «Основы гендерного воспитания» (авторы О. С. Цокур и И. В. Иванова) некоторые из классиков признаются идеологами «полового воспитания» (например, А. С. Макаренко); другие – «морально-полового воспитания» (например, Ж.-Ж. Руссо); третьи имеют в своих педагогических системах «гендерные аспекты» (например, Я. Корчак).³ Однако в программе «Гендерная педагогика» (автор Е. Луценко) тому же А. С. Макаренко приписываются уже «гендерные аспекты».⁴ Третье упоминание А. С. Макаренко в программе «Гендерная психология и педагогика» (авторы Говорун Т. В., Кравець В. П., Кикинежди О. М.) вообще предусмотрительно избегает каких-либо четких маркировок: для анализа предлагается «опыт А. С. Макаренко в отношении совместного воспитания мальчиков и девочек».⁵

Не лишена Хрестоматия и более мелких ошибок и оплошностей: например, неоднократно повторяющееся написание имени белл хукс с больших букв. Но главный мой вопрос касается не мелочей, а артефакта в целом: имеет ли издание такого рода Хрестоматии смысл в реальном процессе гендерного университетского образования в Украине? Ведь учебная программа – инструмент лабильный, нуждающийся в постоянной коррекции, как формальной (количество кредитов, часов и т.п.), так и содержательной. Список рекомендованной литературы постоянно должен меняться; более того, учебная программа очень контекстуальна и т.п. А как быть с методами учебной работы? Например, с названным, но не описанным методом «Концентрических окружностей»?

С другой стороны, данная Хрестоматия попала в большинство украинских университетов, значит, внесет свою лепту в упомянутое «гендерное развитие»... Очень на это надеюсь.

1 *Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку* (К.: ПЦ «Фоліант», 2004), с.249.

- 2 С.140.
- 3 С.161.
- 4 С.68.
- 5 С.34.

Анна Темкина. О постсоветских рынках, гендере, изобретении нации и феминизма.

Татьяна Журженко. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства (Вильнюс: ЕГУ, 2008), 255 с.

Книга представляет собой совокупность статей, опубликованных исследовательницей Татьяной Журженко в период с 1999 по 2007 гг., а также нескольких, специально написанных для данного издания. Замысел книги объединяет ряд идей с фокусом на становлении постсоветского рынка и нации. Книга издана на русском языке в ЕГУ (Литва). Автор книги ранее работала в Украине, в настоящее время проживает в Австрии, русскоязычные рецензенты книги работают в США. Главный объект исследования – постсоветская Украина, однако постсоветский контекст в целом также является предметом (рыночного) интереса автора. На основании такой географии просматривается определенный транснациональный тренд, однако, будем осторожны! – тираж книги всего 300 экземпляров, что наводит на мысли о весьма ограниченном масштабе транснационального русскоязычного гендерного сообщества. Жанр коллажа, как его определяет автор, создает трудности освоения чтения книги как единого целого из-за «ветвящейся» логики объектов и методологии. Аргументация включает переходы от практик к дискурсам, от идеологии к идентичности, от реконструкции к критике, от анализа рынка – к анализу гендера, семьи и нации. Однако коллаж создает и преимущества: читатель может выбирать способ, которым он хочет использовать книгу – в частности, читать любую из глав. В данной рецензии, тем не менее, я попытаюсь представить не только мозаику этих отдельных глав, но и книгу как единый текст, обращая внимание на центральные идеи и методологию анализа.

Методологию данной книги можно охарактеризовать как междисциплинарную, хотя автор избегает этого термина, столь же популярного в современных

гендерных исследованиях, сколь и мало определенного. Автор опирается на аппарат различных экономических, социологических и феминистских теорий, а также теорий национализма и гендерных исследований. Однако междисциплинарность в данном случае означает не просто сочетание различных дисциплинарных перспектив, а объединяющий их критический подход, включающий критику парадигмы объективности и нейтральности и анализ новых форм доминирования и исключения. По определению автора, это также исследование «политической экономии» – то есть политических отношений, в основе которых лежат различные экономические формы, столкновение различных интересов и борьба между ними. Современные трактовки базиса и надстройки позволяют помыслить их относительно автономное существование и значительное влияние идеологии (в данном исследовании – различных политических и национальных дискурсов) на экономические отношения. Экономические формы (постсоветский рынок, в первую очередь), экономические агенты (женщины, в первую очередь) и их ресурсы находятся в центре внимания автора.

В первой главе первого раздела «Дискурс рынка и проблемы гендера в экономической науке» автор показывает, как формировалась феминистская теория экономики, проблематизируя неолиберальные идеи – жесткое гендерное размежевание публичного и частного, пренебрежение нерыночными формами. Феминистская критика позволила высветить неравный доступ женщин к ресурсам, поставить вопросы гендерной дискриминации, выявить значимость женского вклада в домохозяйство, а затем показать, что экономическая наука, абсолютизируя рынок и рациональный выбор в целом, основана на андроцентрических посылах. Вследствие этого, женщина оказывается неполноценным субъектом рыночных отношений и публичной сферы.

Анализ позиций женщины в постсоветских экономических отношениях осуществляется в следующих главах. Обсуждаются новые гендерные контракты и стратегии, возникающие в условиях формирования постсоветского рынка, а также влияние рынка на изменения семьи и на семейные стратегии выживания (включая гендерные миграции). Новые гендерные контракты в первой главе второго раздела «Домохозяйки и бизнес-леди: неолиберализм и постсоветские женские идентичности» рассматриваются в свете идеологий рынка и потребления. Данные идеологии обеспечивают общество набором желательных идентификаций, продвигаемых массовой культурой и рекламой, которые становятся актуальными по мере разрыва советского контракта женщины и государства. К ним относятся модели домохозяйки и деловой женщины, которые, с точки зрения автора, отличает набор товаров, который с помощью рекламы определяет стиль жизни и необходимые качества. Данные модели, с одной стороны, идеологически воспроизводят (хотя и в различной степени) традиционалистские установки, с другой – поддерживают образцы национальной культуры. Традиционные гендерные роли домохозяйки связываются с мифом о матриархате и с возрождением

украинской нации, а в моделях женского предпринимательства подчеркивается его особость, вытекающая из особого женского предназначения, то есть «силы» украинской женщины. Эта идентичность включает поддержку моральных устоев общества, женское предназначение связывается с заботой о семье и о нации, поэтому женщины-предпринимательницы должны способствовать развитию благотворительности, возрождению интеллектуального и научного потенциала нации. Однако идентичность деловых женщин может выступать и идентичностью сопротивления, в практиках женщинам-предпринимательницам постоянно приходится противостоять как бюрократической системе, так и патриархатным стереотипам.

Новыми идентификационными моделями, предлагаемыми обществом потребления, могут воспользоваться не все группы в силу разного доступа к собственности и власти. Для маргинализованных и исключенных женщин характерны особые культурные идентификации. Во второй главе второго раздела «Женщины в челночном бизнесе: между эмансипацией и эксплуатацией» проясняется неопределенность границ между различными гендерными контрактами, а также ограниченность доступа к желаемым моделям домохозяйки и предпринимательницы. Многим женщинам пришлось искать возможности занятости в неформальном секторе, совмещать мелкий бизнес с расширением функций домашнего хозяйства. Осуществляя специфические бизнес-стратегии постсоветского времени, женщины-челноки, с одной стороны, становятся предпринимательницами, обладающими знаниями и управляющими сетями, а с другой – остаются домохозяйками, обеспечивающими выживание семьи, при этом существенно понижая свой профессиональный статус. Дилемма эксплуатации и эмансипации, вынесенная в название главы, органично схватывает диалектику позиции самозанятых неформального сектора, которая, к сожалению, не получала в книге более развернутого теоретического анализа. Так, главной единицей экономического выживания становится не личность или автономный рациональный индивид, а семья, где женщина совмещает традиционные роли и ответственность добытчика за выживание. И потому, как справедливо показывает автор, в такой ситуации оказывается востребованным миф о матриархате, подчеркивающим высокий статус (а, следовательно, и высокую долю ответственности) женщины в украинской семье. Этот миф получает распространение как компонент национальной идеологии, в том числе продвигаемой украинским женским движением.

Следующий контекст, в котором разворачивается данное исследование, – это национальное строительство. Как показывает автор, в постсоветский период происходит дискурсивная селекция, через которую воспроизводится (воображается) один вариант нации и отсекаются другие. В этот период повышается статус украинской культуры, востребуются новые границы, возникают новые маргиналы и аутсайдеры. Символически переосмысливаются границы между

Россией и Украиной, между Украиной и Западом, внутри Украины (между регионами, между городом и селом и пр.). Автор показывает, какие средства используются в дискурсах в процессе «европеизации Украины», отождествляемой с либеральным рыночным развитием, и какие последствия это имеет для маргинализируемых групп. Тематика национализма и производства наций становится все более популярной в гендерных исследованиях, отсюда важность разностороннего анализа, который осуществляет автор. Рассматриваются разные ракурсы воссоздания украинской нации: связь нации и семьи, демографический дискурс, дискурс и практики миграций, политические репрезентации маскулинности и фемининности и пр. Когнитивная и практическая работа современного женского движения в Украине также вносит свой вклад в формирование образа нации и украинской женщины. Сквозная идея разных глав – востребованность гендерных практик и дискурсов для создания и продвижения определенного образа украинской нации.

Женщина-мигрант – один из важнейших репрезентантов национальных границ и борьбы за определение нормативной женственности, допустимых и недопустимых от нее отклонений. Женщина, выполняя традиционные роли, отвечает за биологическое и культурное воспроизводства нации. Миграции подрывают такие роли, эта ситуация оценивается как экономически вынужденная, хотя и нежелательная. Среди мигрантов особое внимание в дискурсе привлечено к работницам сервиса и развлекательной индустрии (включая сексуальные услуги); типичная фигура мигрантки – провинциальная украинка, имеющая семью и детей. Женщины, вынужденно вовлеченные в трудовые миграции, маргинализируются и виктимизируются. «Украинская женщина, вынужденная обслуживать богатых европейцев, становится одним из символов национального унижения» (с.239). Одновременно ситуация миграции символизирует отличия – украинские женщины, в отличие от западных, востребованы там, где необходима теплота и эмоциональная вовлеченность в человеческие отношения. Украинские женщины – другие по отношению к Западу, их образ не только виктимизируется, но и экзотизируется. Образы нации включают различных воображаемых других, при этом внутри нации другим оказывается женщина, а среди женщин также постоянно обнаруживаются другие. Обратим внимание на то, что такая множественная иерархизация порождает конфигурации дискурсов и практик, открывающих пространство «других воображаемых наций». Этот вопрос, однако, в книге затронут лишь незначительно.

В национальной мифологии важнейшее место занимает демографический дискурс, связывающий позицию семьи, женщины (и отчасти мужчин) и приоритетный путь формирования нации. Еще один срез постсоветских изменений представлен в книге через анализ символической репрезентации современной украинской политики в лице ее центральных фигур (Янукович, Ющенко, Тимошенко) (первая глава четвертого раздела «Между кланом, семьей и нацией»;

мужественность и женственность в цветных революциях»). Для автора данные фигуры – это не только репрезентанты разных типов маскулинности и феминности, но и символы политического перехода от клана («Семьи») к европеизированной нации и новой «семье» нуклеарного типа, отдельной от публичности и политики. Добавим, что такой переход сопоставим со сменой патриархальной иерархической структуры власти «старших» и «сильных» на более эгалитарную патриархатную структуру равенства и братства (Пэйтман), достигаемую в числе прочего за счет сохранения иерархий в домохозяйстве и семье. Соответственно, новая европеизированная нация должна создать и репрезентировать «европейского мужчину» в бизнесе, политике, образовании, – то есть в тех сферах, которые предполагают модернизацию европейского образца. В приватной сфере, напротив, модернизации не предполагается, украинским женщинам предписывается, как показывает автор, не «возвращение в Европу», а «возвращение в семью», воплощающую «подлинную» украинскую традицию, прерванную советской политикой. Итак, именно семья в разных ипостасях выступает важнейшим означаемым нового воображаемого сообщества. «Семья», как показывает автор в разных главах, через призму национального строительства, имеет различные толкования – это «Семья» как клан, который не обязательно предполагает родство, но включает систему связей, поддерживающую иерархические правила и ограничивающая не-членам доступ к ресурсам и власти. Такая «Семья» считается наследием советского времени, преодолеваемым на пути в Европу. Семья – это приватная сфера, которая в неолиберальном обществе отделяется от публичности и в которой женщина является носителем ранее подорванной традиции. Семья – это центральный фокус традиционалистских дискурсов, для которых характерна ее абсолютизация, негативное отношение к советским формам, акцентирование репродуктивной функции и «естественное» разделение гендерных ролей. Семья занимает важнейшее место в создании нации, в ее биологическом и символическом воспроизводстве. С семьей связано изменение этнического баланса в пользу украинцев, которое в демографическом дискурсе представляется основой национальной консолидации. Традиции семейности, семейная ментальность, высокая брачность и рождаемость считаются фундаментальными особенностями украинского этноса, «украинская Семья – такой же абсолют, как и украинская Нация» (с 131). Семья – это и конкретные практики организации приватной сферы, включая как повседневное выживание, так и новые практики потребления и организации быта.

Дискурсу о нации приходится балансировать между вектором европеизации как модернизации публичной сферы и вектором сохранения культурной традиции, воплощаемой в воспроизводстве традиционных патриархатных, то есть до-модерных ролей в приватной сфере. С моей точки зрения, это лишает дискурс когерентности, образует зазоры и пустоты, которые ситуационно наполняются разнообразным содержанием. Во второй главе третьего раздела

(«Постсоветская семья в условиях рынка») автор описывает противоречие между дискурсивным прославлением идеальной украинской семьи и реальными практиками разводов, аборт, одинокого материнства, бедности и пр. К сожалению, остается неясным, каковы политические и практические последствия такого противоречия, чем заполняются «зазоры» и какие средства необходимы для поддержания идеальной «воображаемой семьи» на фоне ее существенных кризисных и модернизационных изменений.

Статус женщины в процессе создания новой нации находится в центре постсоветского феминистского дискурса. Этот вопрос рассматривается автором в разных главах, и ему целиком посвящена вторая глава первого раздела – «Вписывая(сь) в дискурс национального: украинский феминизм или феминизм в Украине?». Этот текст специально написан для данной книги и, с моей точки зрения, заслуживает особого внимания. Позволю предположить, что определенная темпоральная и пространственная дистанция автора от Украины (о первой упоминается во введении) позволили отстраниться от интеллектуальной ангажированности и увидеть национальное из транснациональной перспективы.

Феминизм, как утверждает автор, участвует в изобретении нации, изобретая национальный феминизм в ситуации двойной неопределенности – как самого феминизма, так и его национальных границ. Неясно, – пишет автор, – «всякий ли феминизм в Украине является «украинским?»» (с.39). Феминизм вынужден самоопределяться по отношению к нации и исторически, и пространственно. В первом смысле это означает реконструкцию связи национальных и женских движений в историческом прошлом, когда феминизм выступал частью национально-освободительной борьбы, во втором – необходимость в настоящее время совмещать (или маневрировать между ними) пронациональную и европейскую перспективы. Добавим, что постсоветский феминизм вынужден самоопределяться также и по отношению к другим метанарративам – транснациональному настоящему и советскому прошлому.

Итак, постсоветский украинский феминизм определяет свои позиции и интересы в русле националистического нарратива, возвращающего подлинную, ранее замалчиваемую историю, которая не только должна «восстановить в правах» исключенных, но и создать историческую преемственность, соединить различные фрагменты в единое непротиворечивое целое, исключить пространственные и темпоральные зазоры и разрывы. В этом смысле ситуация Украины уникальна даже для Восточной Европы.

Включенность (или исключенность) феминистского дискурса в процесс символического создания нации автор показывает на примере четырех феминистских организаций Украины (в Киеве, Одессе, Львове и Харькове). Все рассматриваемые дискурсы говорят о маргинальностях и особости женского опыта, письма, культуры. Однако говорят они по-разному. В трех первых случаях осуществляется феминистская работа в литературоведении, в истории, в

этнографии. Связь национального феминизма и европейских дискурсов, история украинского женского движения и устная история женщин вписываются в нарратив национальной истории. Автор показывает, как в ходе этой реконструкции украинский феминистский дискурс участвует в создании границ исключения. Посредством апелляции к литературным текстам, этнографическим и историческим материалам восстанавливается ранее маргинализированное женское, осуществляется критика доминирующих традиционалистских мифов. И одновременно происходит символическое отделение от советского прошлого, от русифицированных регионов, от Российской империи и пр. Создается монолитный субъект «украинская женщина» при исключении других (польских, еврейских, русских) женщин. При этом границы не являются исторически заданными и самоочевидными. В частности, затруднено выделение женского движения Украины в составе Российской империи, отделение женского движения как национал-демократического от либерально- и социал-демократического, как затруднено и вычленение национальной истории из истории общероссийской и имперской в целом. В ряде случаев признается наличие общеимперской и современной европейской модернизации, выходящей за рамки национальных интересов.

Другую позицию, с точки зрения автора, занимает Харьковский центр гендерных исследований. Его постмодернистский дискурс располагается вне дискурса национального феминизма, он апеллирует не к локальным, а скорее к постнационалистическим категориям, нацеливаясь на деконструкцию бинарных оппозиций мужского – женского, западного – восточного и пр. Национализм из этой перспективы предстает как психоаналитический феномен, когда нехватки и потери в реальности требуют структуры воображаемого – в частности, утрата единства территории и пр. стимулирует миф о единой идентичности и пр. Символическое оказывается более значимым, чем реальные экономические и социальные проблемы, а национальная идентичность, навязываемая властью, скрывает перераспределение собственности и власти. Национализм оценивается как манипулятивный дискурс, однако в пересказе автора остается непроясненным, почему власти (и какой именно?) выгоден именно такой национализм, и почему массы склонны так некритично его воспринимать. Данный феминистский дискурс, как и дискурс автора, озвучивается в основном на русском языке и оказывается маргинализированным внутри поля национального феминизма.

Таким образом, подводит итог автор, нет консенсуса в определении нации и ее символических границ – «не всякий феминизм в Украине является «украинским», если понимать под этим языковую и культурную идентичность» (с.67). При этом феминистские сообщества и дискурсы не могут оставаться вне реакции на создание воображаемого сообщества и в стороне от борьбы за идеологическую гегемонию и за ресурсы, «за право использование западного языка феминизма и постколониальной парадигмы для легитимации своих академических проектов и политических стратегий» (там же). Я полагаю, что и российские феминистские

дискурсы развиваются в аналогичной системе ограничений и борьбы, однако это – предмет отдельного анализа.

Позволю себе сделать некоторые критические замечания, которые связаны с позицией автора, методологией и жанром книги. Обращу внимание на то, чего мне не хватило в данной книге.

Во-первых, не отрефлексирована позиция (*standpoint*) автора. Отдельные важные ремарки по этому поводу встречаются в тексте – например, отмечается сходство положения женщин-челноков и позиции автора, принадлежащей к среде университетских женщин в середине 1990-х годов. И те, и другие сталкивались с рыночными вызовами, среди которых: социальная незащищенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, необходимость действовать гибко и инновативно с учетом имеющихся ресурсов. Эта общность помогала взаимопониманию в ходе проведения исследования (с. 99). Однако в духе феминистской традиции осмысление авторской позиции могло бы представить гораздо больший самостоятельный интерес, с одной стороны, и прояснить содержание исследований – с другой. Например, было бы интересно понять, является ли постепенное формирование дистанции от Украины, о которой пишет автор во введении, исключительно темпоральным процессом (все более отделяющим автора и от советской эпохи), или этот процесс включает и освоение автором новых социальных и академических/рыночных пространств? Не из-за этой ли темпоральности меняется и стиль письма, и объекты, находящиеся в поле внимания, и методология исследования, которая в данном случае все более смещается с анализа конкретных практик к критике дискурсивных конструкций? В результате образуются разрывы текстов, а логическая связь между разными уровнями анализа (например, между идеологической конструкцией крепкой украинской семьи как компонента национальной идеологии и повседневными практиками нестабильности) зачастую остается не проясненной. Другой пример – автор несколько раз констатирует феномен «ренессанса патриархата» в постсоветский период. Однако сам по себе «ренессанс патриархата» скорее является дискурсивной конструкцией, которую создает феминизм в борьбе за гегемонию, объединяя разнородные феномены в общую структуру, рискуя попасть в ловушку уникальности национальной культуры и ее традиционалистских особенностей. Как следствие, затемняется трактовка интерсекциональности, то есть множественных иерархий и дискриминаций по признаку пола, сексуальной ориентации, этничности, возраста, поколения и пр.

Еще одна проблема – это мало отрефлексированное смещение акцентов в анализе женского движения. В ранних текстах автор обращает внимание на неразвитость женского движения и феминизма в Украине, на то, что востребованы традиционные женские идентичности и миф о матриархате. Женское движение, как утверждает автор, идентифицирует себя с задачей национального возрождения, когда важнейшим признается не защита прав, а национальная

консолидация, которую должна обеспечить семья и гендерная гармония. Соответственно получает распространение миф о «сильной украинской женщине», которая всегда играла значимую роль и была более свободной по сравнению с Западом и с Россией. В более поздних текстах речь идет (на фоне «нехватки» феминизма в трактовке положения женщин и в женском движении?) уже о наличии национального феминизма и активной борьбе внутри феминистского дискурса за национальный капитал. Вместе с тем, остается неясным, насколько в целом могут быть значимы попытки вписываться в национальный нарратив маргинального (феминистского) крыла маргинального (женского) движения? В каком соотношении находятся неотрадиционалистские движенческие дискурсы и феминистские попытки мыслить гендер в поле власти, гегемонии и рыночных интересов? И, наконец, какую активистскую позицию может занять феминистский исследователь в Украине (да и не только), если он принуждаем мыслить в категориях национального (или же вынужден оказаться еще более маргинальным)? Как я уже писала ранее, в главе «Вписывая(сь) в дискурс национального» автор занимает своего рода наднациональную критическую позицию, сопоставляя различные дискурсы. В дальнейшем эта позиция изменяется. В последней главе четвертого раздела, также специально написанной для данной книги «С мечтой о Европе: гендерные конструкции геополитической идентичности», авторское отношение к феминистским национальным дискурсам разворачивается в новой перспективе. Акцент делается на то, что некоторые из них поддерживают европейскую интеграцию и европеизацию украинской культуры, а Европа рассматривается как источник модернизационных импульсов. Национальная культура предстает не как нечто застывшее и монолитное, а скорее как пространство, открытое для экспериментов. В этом пространстве женщина может выступать «вестернизатором» украинской культуры, а феминизм – необходимым элементом модернизации. Иными словами, национальный феминизм может эксплицитно становиться транснациональным, а не только вписываться в единственно возможный метанарратив воображаемой нации. Для этого приходится подчеркивать границы между Украиной и Россией, занимая консервативно-элитарную позицию и дискриминируя иные дискурсы. Важно, однако, то, что существуют множественные варианты заполнения «зазоров», и не все они подчинены одному единственному канону. И именно маргинальные голоса содержат потенциал «воображения заново». Доказательство этого положения (на примере анализа текстов Леси Украинки и других) является большой заслугой автора, хотя выводы более теоретического свойства автор, к сожалению, не делает. Кроме того, при анализе дискурсов во многом исчезает анализ рынков, капитализма и общества потребления. Символическое в некоторых интерпретациях может стать важнее экономического, однако в таком случае следует глубже обратиться, например, к теориям дискурсивной власти, самостоятельности надстройки от базиса, способной его детерминировать через идеологические аппараты и пр.

С моей точки зрения, не хватает также отрефлексированного отношения автора к коллажности книги. Этот жанр затрудняет чтение, и некоторый развернутый гид, проясняющий связь отдельных частей, включающий отсутствующие введения и заключения разделов, а также заключения книги в целом позволил бы текстам не «зависнуть» в неопределенности жанра между эссеистическим сборником статей и монографией, а, наоборот, максимально использовать выгоды (кроме чтения отдельных фрагментов важно и постепенное развитие идеи в разных ракурсах), и статью – в соответствии с достойным того содержанием – широко читаемой книгой. И тем самым – способствовать расширению транснационального русскоязычного «читающего сообщества», независимо от национальной принадлежности и границ.

Людмила Малес. Гендерный анализ демографической ситуации: возможности и нереализованность.

Шлюб, сім'я та дітородні орієнтації в Україні (К.: АДЕФ-Україна, 2008), 256 с.

Предлагаемая вниманию читателя, такая редкая на украинском книжном рынке, монография по демографии затрагивает актуальные вопросы брака, семьи и репродуктивных ориентаций¹ в Украине. Над книгой работал коллектив авторов (демографов, экономистов и социологов) под руководством чл.-кор. НАН Украины Эллы Либановой. Основой монографии является масштабное общеукраинское социально-демографическое исследование „Семья и дети”, осуществленное Институтом демографии и социальных исследований на основе проведенного Центром „Социальный мониторинг” социологического опроса населения детородного возраста.

Очень надеялась, что появление данной монографии даст, наконец, профессиональный ответ затертым от частого употребления всеми политическими силами и государственными деятелями темам демографического кризиса и связанными с ними призывами спасти семью, женщин, мужчин, детей, село, украинцев, нацию и популяцию.

Во многом мои надежды оправдались. В послесловии к монографии представлены те мифы, которые авторам монографии удалось развенчать. А именно: мифы „об углубляющемся кризисе семьи и ускоренном отмирании института брака”; „о незарегистрированном браке (сожительстве) как распространенной

форме брачных отношений преимущественно среди молодежи”; „об исключительно экономической обусловленности низкой рождаемости”. А также стереотипы о том, что „повторные браки не компенсируют потерянные в результате развода „репродуктивные возможности””; „об отношении к многодетности и многодетным родителям с большой долей пренебрежения и снобизма”.

Однако парадокс данной монографии заключается в том, что в итоге самим авторам также не удается обойти мифологизированных и стереотипных суждений. Причиной, на мой взгляд, является не всегда осознаваемая авторами глубокая включенность в демографическую политику, проводимую государством, как политику неотрадиционализма.

Результатом оказывается не просто отсутствие гендерной терминологии в тексте (из 226 страниц монографии гендерная терминология в первый и предпоследний раз появляется только на 197 странице, где сказано, что „создание условий для сочетания матерями профессиональной деятельности с воспитанием детей ... является значимым также для достижения гендерного паритета в обществе”), но того, что принято называть гендерным подходом в социальных науках, неизбежно предполагающим критику патриархатных социополитических режимов в обществе, в частности, в вопросе о причинах и факторах брачно-семейного и репродуктивного поведения. В результате гендерный паритет авторами предлагается достичь, например, не путем большего привлечения отца к активному родительству или социально ответственной позиции работодателей, а через „сохранение, и отчасти возобновление завоеваний прошлого (в частности, доступного содержания детей в детских дошкольных заведениях, функционирования групп продленного дня в школе и тому подобное), использования возможностей, предоставляемых традиционными „семейными кооперациями” (участие поколения прародительства)”. Кроме того, в монографии понятия семейственности, брачности, детства, родительства (по-украински *батьківства!*) и др. связаны исключительно с женщиной.

Так, текст первого раздела, где дается анализ актуальной демографической ситуации украинского общества на базе статистических данных, можно иронически обозначить как однополюй: мужчина в нем совсем не упоминается. Создается впечатление, что семьи у нас – исключительно материнские или лесбийские, а население воспроизводится путем отпочкования женской его части. И это несмотря на то, что уже первые страницы описания результатов опроса свидетельствуют о том, что украинские мужчины, оказывается, тоже имеют семейные и репродуктивные ориентации, брачные установки, соизмеримые с соответствующими ориентациями и установками у женщин.

Кроме того, поражает формулировка „правильного” статуса для женщины репродуктивного возраста, именно – непременно в зарегистрированном браке с детьми, а в идеале – в многодетной семье. В опросе целеустремленно определялась готовность женщин на посвящение себя материнству через использование

собственной фертильности на репродукцию, а собственного времени – на уход за детьми. На это нацелены почти все вопросы, есть даже специальный блок – „Отношения населения к многодетности”.

Но особенно ярко подсказка „правильных” ориентаций присутствует в следующих вопросах: „Согласны ли Вы с тем, что быть домохозяйкой и воспитывать детей – это такой же способ реализовать себя, как и работать по специальности?”, или же: „Как Вы считаете, оправданным ли является сознательный отказ репродуктивно здоровых пар вообще от рождения детей в Украине?”. Однако ответы на эти вопросы оказываются противоречивыми. Мне кажется, что «аппендикс» *второго* вопроса („в Украине”) сыграл злую шутку в отношении полученных ответов. Поскольку хорошим тоном сегодня считается высказывать недовольство жизнью в Украине, заявлять об отсутствии перспективы для молодых в этой стране, то на этот вопрос получено лишь 20,5% позитивных ответов. В то время как на *первый* вопрос часть негативных ответов достаточно предсказуемо росла у высокообразованных женщин, а мужчины больше соглашались с таким утверждением в зависимости от полюсов своего карьерного и жизненного успеха (безработные и квалифицированные рабочие, – с одной стороны, и топ-менеджеры, владельцы собственных предприятий, высокопоставленные госслужащие – с другой).

Меньшая романтизация традиционных и осуждение всех других форм брачно-семейных отношений и репродуктивного поведения, вероятно, стала бы возможной, если бы в поле зрения авторов были включены работы известных отечественных и зарубежных антропологов (Хв. Вовка, Р. Зидера, Э. Гиденса, Н. Элиаса, Ф. Арьеса и других), исследователей устной истории (особенно следует вспомнить книгу Уильяма Нола *Трансформация гражданского общества. Устная история украинской крестьянской культуры 1920-30 лет*), культурные и социологические исследования, описывающие как новые, так и умалчиваемые или же хорошо забытые феномены матримониального и репродуктивного поведения (см. сборники *Семейные узы: модели для сборки* под ред. С. Ушакина, *Окно в русскую частную жизнь* под редакцией Н. Римашевской, публикации Н. Лавриненко и многие другие).

А вот еще один любопытный вопрос из анкеты: „Соглашаетесь ли Вы с таким утверждением: „Ребенку для того, чтобы расти счастливым, нужен дом, где есть отец и мать”?” (Скорее, соглашаюсь/Скорее, не соглашаюсь). Из вариантов ответа на него не ясно, например, будут ли родители в том «доме», который непременно сделает ребенка «счастливым», любящими ребенка. Не навредит ли, например, психическому и физическому здоровью детей, партнера, родственников, других членов семьи пристрастие к алкоголю матери или домашняя тирания отца – такой вопрос не ставится. Ценность „полной” семьи перевешивает детали.

Работая на выполнение общественных функций актуального социального института брака, авторы монографии словно призывают – женитесь! И будет вам (точнее, нам) счастье! „Счастливый брак является неременным атрибутом счастья и успеха в жизни человека, в то время как распад брака непременно влияет на мировосприятие личности, делает жизнь менее привлекательной” (ст. 104). Не очень согласовывается этот вывод с тем, что значительная часть опрошенных указали на проблемы в отношениях с партнером или родственниками, алкоголизм, насилие со стороны партнера/ши, другие семейные беды и несчастья как причину разводов или нереализованность репродуктивных намерений.

Социально-психологическое благополучие взрослого или ребенка в тексте отходит на второй план. Естественно, что вслед за общеполитической риторикой, респонденты непременно указывают на материальные трудности. Однако мой вопрос заключается в следующем: почему эту риторику поддерживают исследователи, убеждаясь на массиве данных, что достаток в семье не коррелирует с показателями детности? Экономический фактор не является единственным, и – тем более – определяющим для наличия или увеличения количества детей в семье, а пребывает в сложном переплетении обстоятельств реализации репродуктивных намерений, формируемых еще с детства.

В монографии присутствует непроизвольное осуждение („к сожалению”, „вызывает тревогу”), ведущее к терминологической стигматизации всех других возможных вне брака статусов женщины и мужчины – самостоятельности („безбрачное одиночество”); самостоятельного материнства/отцовства („мать одиночка”, „неполная семья”); семьи, свободной от детей (сознательный отказ от деторождения). Такое отношение усиливается скрытыми осуждениями стремлений к профессиональной реализации и к получению материальной независимости как факторам отсрочки репродуктивных намерений – независимо от того, выражают ли такие стремления ученическая или студенческая молодежь, женщины или мужчины среднего возраста и т.п..

Монография удивляет упрямым неупоминанием восходящего к санскриту украинского слова «тато» („папа” – по-русски); слово же «отец» появляется всего несколько раз на последних страницах книги, как бы „под занавес”. Таким образом, не только поддерживается гендерная сегрегация в системе разделения частной и публичной сфер жизни общества, но и игнорируется сложная и большая тема отцовства. Спектр её проявлений простирается от неясного ощущения возможного отцовства после каждого полового акта к системе стигм и насмешек активного отцовства, развитого сегодня во многих культурах.

Для украинской культуры характерно, что женщина осваивает материнские роли уже с момента собственного рождения, а мужчина осваивает отцовские лишь с рождением ребенка. Иначе говоря, женщину делает матерью общество, а мужчину – его ребенок. Та же ситуация и с установками на брак и семью. Гипермотивированные девушки стремятся любыми способами воплотить

свою и своего окружения мечту о замужестве, иногда прибегая к нечестным способам осуществления данной мечты. В результате возникает обратный эффект у юношей, порождающий афамилистические ориентации и антифамилистический фольклор. Поэтому для раскрытия вынесенной на обложку монографии темы социально-демографическое обследование следует дополнить историко-социологическими и культурно-антропологическими, выявляющими обстоятельства, механизмы формирования и трансляции семейных, брачных и репродуктивных ориентаций в современном украинском обществе.

Центром и точкой отсчета всех семейных состояний и репродуктивного поведения в демографическом дискурсе становится брак: человек может обязательно быть или уже в браке, или (почему-то) еще не в браке, или же вне брака. Именно на прочность брака авторы уповают в осуществлении собственной социально-демографической политики (ст.13). Необходимо отметить, что в демографических текстах в Украине уже многие годы неизменно привязка к социальному институту брака, что приводит к пренебрежению, приуменьшению, а то и осуждению всего многообразия форм семейных отношений.

Причиной этому феномену является чрезвычайно узкое толкование понятия семьи, приведенное часто цитируемыми демографами А. Антоновым и В. Медковым в учебнике *Социология семьи*. По их мнению, для того, чтобы считаться семьей, должны одновременно существовать отношения супружества, родительства и родства. В такое определение вписывается далеко не каждая украинская семья – в частности, все незарегистрированные браки; бездетные пары; отец или мать с детьми; кто-то из родственников и один из родителей с детьми; семья, не имеющая или одного из супругов, или детей...

Считаю, что эти и другие проблемы возникают вследствие редуцированного понимания института семьи. Убеждена, что институтом, то есть легализованной формой организации супружеских отношений, порождающей формализованные статусы, процедуры сопровождения и контроля всех семейных событий, является именно брак. Если для традиционного общества брак легитимизовался общиной в свадебном обряде, то распространение церковного регулирования сферы семейных отношений во все слои общества сопровождалось введением церковного брака с церемонией венчания. Установление советской власти в Украине способствовало вытеснению всех предыдущих форм *гражданской* формой фиксации брачных отношений.

Все эти формы в разные времена конкурировали или же проникали друг в друга, поэтому в настоящее время они образуют сложное переплетение взаимосвязей. Так молодожены, обручившиеся без регистрации, не признаются государственными органами, а не «сыгравшие свадьбу», – родственниками. Сегодня самую сильную позицию занимает оформленный в РАГСе брак – государство установило субординацию легитимностей с церковью, а упрощение свадебной традиции подорвало сакральность последней. Однако распространение

фактического брака, (полностью неподвластного пока в Украине ни одному из социальных или политических институтов) указывает на то, что борьба на этом поле продолжается.

Каждый из институциональных вариантов брака предусматривал свой дизайн супружеских отношений, включал или исключал определенные типы, взятые из широкого спектра семейных практик (например, брак близкой степени родства, гомосексуальный, повторный браки). Поэтому распространять концепт социального института на семью как однотипную организацию *разнообразных* отношений родства, супружества и родительства – неправомерно.

Уже само осознание этого различия между институтами брака и формой организации социальной жизни позволяет избавиться от навязанного пророчества кризиса семьи и различных эсхатологических прогнозов: ведь на смену одному институту приходят другие, и они не могут исчерпать все богатство семейных отношений.

Монографическая сосредоточенность на достаточно узкой теме позволила исследователям включить в анкету вопросы обо всех вариантах репродуктивных ориентаций (идеальной, желаемой, планируемой) с тем, чтобы описать их в разных комбинациях с показателями семейного статуса и социального положения респондентов. Получился очень плотный, насыщенный цифрами и графиками текст, близкий по форме к отчету, что, отчасти, диктовалось стремлением максимально донести результаты исследования до текущего государственного заказа.

Хотя жанр монографии далеко не исчерпывается описанием полученных данных, однако именно от такого типа подачи материала мы ожидаем наибольшей методологической обоснованности и точности. И этой книгой, кроме удовлетворения одноразового интереса, можно смело пользоваться как источником данных для вторичного анализа, как справочником или даже учебником. Первая её часть будет особенно полезной для тех, кто, в виду специфики своей работы, не погружен в поток статистических таблиц, не имеет времени на их поиск, сопоставление и сводку данных, однако нуждается в такой информации для принятия решений и анализа ситуации. Отдельной благодарности заслуживают авторы за указание исходных данных и краткое описание украинских социально-демографических обследований по вопросам матримониального и репродуктивного поведения (подраздел 2.1).

В то же время читатель должен быть внимательным! – ведь случаются и казусы. Так, первой страницы таблоида достоин рисунок на ст.87 „Распределение домохозяйств респондентов по наличию детей в их составе % (апрель в 2008 г.)”. Вокруг круговой диаграммы приведены поражающие цифры: 45% составляют семьи респондентов детородного возраста без детей! Наверное, полагаясь на смекалку читателя, ни до, ни после рисунка авторы не указывают, что в этой цифре посчитаны и те 30% респондентов 15-24 возраста, которые еще учатся

в школах или ВУЗах, и семейные пары, чьи дети уже живут отдельно, и люди с проблемой бесплодия, а также и другие многочисленные ситуации, в которых странным бы было ожидать сплошной рождаемости.

Вот так, с карандашом и бумагой, с выпиской социальных показателей или собственных размышлений по их поводу, быстро прочиталась, казалось бы, «сухая» по жанровой специфике книга. Думаю, полезной она будет многим: ведь до сих пор социологические исследования в Украине – немногочисленны, а данные о социально-демографических ориентациях – редкость. Сама же я как автор рецензии еще раз убедилась в актуальности гендерного анализа брака, семьи, репродуктивных ориентаций современного украинского общества, открывающих новые перспективы в понимании социально-демографической ситуации, и не только её.

1 Не будем здесь, вслед за авторами, употреблять определение „детородный”: ведь термин „репродуктивный” включает в себя весь спектр демографического поведения, связанного с рождением.

Елена Иванова. Софья Чуйкина. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920—30-е годы) (СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006), 259 с.

Когда я увидела книгу Софьи Чуйкиной *Дворянская память: “бывшие” в советском городе (Ленинград, 1920—30-е годы)*, то привычно выхватила слово «память» в заглавии. Меня заинтересовало, как автор будет трактовать коллективную память, её изменения, трансляцию и т. д. Слово «дворянская» добавило проблеме привлекательности. Но, начав читать интересующие меня разделы и прочтя кусочек одного интервью, я поняла, что не могу оторваться, что я хочу прочесть книгу с начала и до конца. Во время её чтения возникает интересное ощущение: её одновременно читаешь и как научную литературу, и как увлекательное художественное произведение. Некоторые интервью заставляют слёзы наворачиваться на глаза, испытываешь острое сострадание к людям, которым пришлось столь многое пережить, которых так безжалостно ломали власть и система. Как они проходили через все испытания, посланные жизнью? Как им удалось не сломаться? Как они проводили своих детей через эти испытания? Эти

вопросы возникают при чтении интервью и мемуаров, использованных автором. Книга пытается дать ответы на эти вопросы, и не только.

Дворянская память построена как бы на нескольких уровнях: сами рассказы, интервью, мемуары («сырой материал», который дает представление о жизни дворян) и просвечивающаяся сквозь них более широкая картина советской жизни; и теоретические положения, теоретическая сетка, которая набрасывается на этот «сырой материал», дающая возможность теоретических обобщений и выводов. Квинтэссенция теоретической базы, на которую опирается автор, изложена в комментариях, которые представляют отдельную ценность. Поскольку данная работа носит междисциплинарный характер, то она основывается на работах о дворянской жизни и быте культурологов (например, Ю. М. Лотман), историков (Д. Товров), славистов (А. Уахтель); теории реконверсии школы П. Бурдые; на работах о взаимосвязи социальных практик и формирования социальной структуры (Э. Томпсон, Н. Элиас, М. де Серто), концепции стигматизированной идентичности И. Гофмана и коллективной памяти М. Хальбвакса. Удачно и то, что комментарии вынесены за пределы основного корпуса книги, могут вообще читаться отдельно, и не перебивают нити повествования. В приложение вынесен и раздел о методах сбора и анализа данных. В частности, описывается метод автобиографического интервью, приводится его схема, дается подробное описание источников.

Проблема, интересующая автора, – это создание социальной структуры общества в переходный период. Что происходит с прежней элитой в ситуации разрыва традиций? Во что она превращается? Сохраняет ли прошлое в своей памяти и практиках? Если да, то как? Ответы на эти вопросы и многие другие, с ними связанные, автор ищет в памяти людей этого слоя, их детей и внуков, в памяти, которую она назвала «дворянской». Ведь на самом деле, изучая память, человека ли, социальной группы, можно сказать о них очень многое.

Я бы выделила две основные темы, которые звучат в книге то отдельно, то переплетаясь: одна тема – это дворянская жизнь (и не только в послереволюционный период, но и до него) и её изменения, а вторая – это собственно память и её содержание, трансляция, практики, реконструкция и т. д.

Описывая жизнь дворян, С. Чуйкина начинает с реакции дворян на революцию (1-я глава). Она анализирует, кто эмигрировал, а кто остался, как принималось решение об эмиграции, способы эмиграции, траекторию отъезда (через южные или северные границы); отсюда разделение эмигрантов по политической ориентации на разные группы – «правых» и «левых». Но не все дворянские семьи могли или хотели эмигрировать. Среди причин решения остаться были осознанная преданность своей земле, корням, культуре, языку; возможности профессиональной самореализации; надежда на повышение своего социального статуса (тех, у кого он до революции был невысок) и избавление от сословных запретов и ограничений; неприятие старого порядка; ожидание того, что советская

власть установилась ненадолго. Многие не приняли этот режим, но вынуждены были остаться, так как не имели возможности уехать (отсутствие материальных средств, связей, пожилые и больные родственники и т. д.).

Но каковы бы ни были причины, жизнь оставшихся в России семей изменилась кардинальным образом. Для анализа реакции на изменение жизни тех, кто остался, автор использует классификацию реакций на кризисную ситуацию французского социолога Г. Бажуа: уход, протест, лояльность и апатия.

Как в результате отношение к действительности сказывалось на профессиональной реализации, рассмотрено во 2-й главе «Дворяне на советском рынке труда». Самой главной характерной чертой жизни представителей дворянства было то, что они вынуждены были жить и работать в условиях дискриминации. И в данной главе изучаются механизмы реконверсии (того, как различные ресурсы дворян могли быть реализованы и профессионализированы в новых условиях) в ситуации дискриминации и трансформации.

Вначале автор показывает некоторые аспекты той внешней ситуации, с которой столкнулись дворяне, и которая их жёстко маркировала и стигматизировала. В прессе рисовался издевательский и сатирический образ «бывших», который сменился в конце 20-х годов отчётами о том, куда «пролезли бывшие», об их разоблачении, увольнении, выселении из города (в книге речь идёт о Ленинграде). На пути к профессиональной реализации и трудоустройству им пришлось преодолевать массу преград и барьеров. Кроме всего прочего, для успеха нужны были и профессиональные качества, и способность к освоению нового языка общения и новых правил игры. Особенно обострилась ситуация в конце 20-х годов с их показательными процессами против специалистов, чистками партии, дискриминацией при приёме абитуриентов в вузы. Это привело к появлению страха перед государством и чувству незащищённости перед произволом властей, которое практически навсегда впечаталось в сознание выходцев из дворян. С. Чуйкина делает вывод о существовании сложного контракта между государством и людьми из дворян: «были созданы многочисленные препятствия на пути профессиональной самореализации “бывших”, но каждый барьер предполагал наличие обходного пути» (с. 58). Эти обходные пути становились возможными при мобилизации имеющихся ресурсов – культурного капитала и полезных знакомств, в первую очередь.

Дворянское воспитание и образ жизни, которые способствовали овладению многими знаниями, навыками и умениями, давали возможность для адаптации. Какие же знания, навыки и умения дворян могли быть востребованы на новом рынке труда? Многие мужчины имели свои профессии, элементарные знания в области сельского хозяйства, знания, нужные для управления теми производствами, которые были в их имениях. Женщины имели домашнее и институтское образование, могли преподавать. Кроме того, дворянский статус предполагал комплекс таких навыков как умение следить за собой, знание хороших манер,

образование, искусство общения, умение просто держаться. Навыки, привитые в результате домашнего и институтского воспитания и обучения, могли быть профессионализированы и востребованы на рынке труда. Так, проведённые интервью показывают, что аристократическое хобби (например, театр, охота) могло превращаться в профессию; конвертировались также светские навыки (знание языков, музыки, грамотность), которыми не обладали представители правящего класса.

Чтобы держаться на плаву, надо было обладать широким спектром различных навыков, умений и знаний, которые можно было профессионализировать. Поэтому один человек часто использовал разные типы конвертации ресурсов. Кроме того, нужно было обладать целым рядом личностных качеств, которые требовались для приспособления к новой жизни: умение использовать знакомства, способность к перемене мест работы и сферы деятельности.

Наименее защищёнными выходцами из дворян были те, кто не считал возможным или не мог устроиться на государственную службу: пожилые люди и женщины, не имевшие до революции опыта работы. Чтобы как-то выжить, они нанимались убирать, шли в кухарки и горничные, продавали свои вещи. Несколько лучшее положение было у женщин, которые имели работу на дому (шитьё, частные уроки).

Важнейшим капиталом для устройства на работу были социальные связи. Они позволяли найти работу и устроиться на работу. Во время чисток, выселений и репрессий работающим особенно помогали знакомства в провинции, других городах и регионах.

Реконверсионные стратегии, как показала С. Чуйкина, зависели и от возраста представителей дворянской элиты. Попытки приспособления к новой жизни дворян старших поколений (1870–1890-х годов рождения) можно лишь условно назвать «успешной реконверсией», поскольку они воспринимали свои профессиональные усилия как вынужденные; часто становились жертвами террора; не могли забыть о многочисленных потерях: родственниках, друзьях, фамильном доме, и в целом уровень их жизни ухудшился.

Профессиональная карьера дворян 1910-х годов рождения была не менее простой, чем их родителей. Прежде всего, им нужно было преодолеть препятствия на пути к высшему образованию, что было особенно сложным в период сталинской культурной революции 1928–1931 годов. Многие родители шли по пути конвертации материальных ресурсов семьи в образование детей, и, в конечном счёте, эта стратегия, направленная в будущее, себя оправдала. Однако многим не удалось справиться с преградами, возникающими и на пути приобретения образования, и в профессиональной жизни, поэтому успешной можно назвать реконверсию только активной части выходцев из дворянского сословия 1910-х годов рождения.

Заканчивается эта глава выводами о месте дворян в социальной и профессиональной структуре советского общества. В 20-е–30-е годы бывших дворян можно было встретить в разных сферах, но главным образом – в старых учебных заведениях и учреждениях науки и культуры. Это можно объяснить потребностью общества в образованных людях, с одной стороны, а с другой – тем, что эти сферы не заставляли дворян демонстрировать свои идеологические взгляды и притворяться своими в кругу чужих.

Исследование показало наличие неравенства по гендерному признаку и гендерных различий в профессиональной интеграции: мужчины предпочитали обрести статус пролетария, чтобы в дальнейшем получить более интересную работу. Женщины чаще выбирали работу на дому или по частному соглашению. Одной из стратегий адаптации, особенно для женщин, был брак по расчёту. Они же чаще попадали в нетрудовые элементы. Вообще женщины были в более уязвимой позиции по сравнению с мужчинами.

Профессиональными сферами для бывших дворян в Советском Союзе оказались области, связанные с хранением и передачей традиции, и формирование советской высокой культуры и интеллектуальной традиции происходило при участии старых элит (с. 94–95).

Третья глава посвящена механизмам дальнейшего изменения социальной группы бывших дворян на стадии формирования социальной структуры советского общества и конструирования социальной идентичности дворян 1910-х годов рождения. С. Чуйкина подробно анализирует понятие «интеллигенции», ставшее широко употребительным к 40-м годам XX столетия, содержание которого существенно изменилось по сравнению с дореволюционным. Интеллигентами стали называть всех представителей дореволюционных образованных слоев, «трудящихся», которые работали на советское государство. Однако вследствие отрицательного отношения многих лидеров страны и к этим людям, и к этому термину, понятие «интеллигенции» стало терять свои дореволюционные коннотации и нести в себе и отрицательные смыслы. Пресса формировала карикатурные черты внешности и характера интеллигента.

С 20-х годов появилось разделение на «старую» и «новую» интеллигенцию, которое прижилось в обществе. С. Чуйкина пишет, что в прессе подчёркиваются отрицательные черты «старой интеллигенции», которая включала в себя представителей разных профессий и выходцев из разных дореволюционных сословий, и ставится задача её перевоспитания. «Новой интеллигенцией» после речи Сталина стали называть работников умственного труда из рабочих и крестьян, обладающих «классовой ненавистью». Образовательные учреждения были институтами, на которые государство возлагало ответственность за перевоспитание «старой» и формирование «новой» интеллигенции. Борьба государства за влияние на новое поколение проявилась в смещении учителей «из бывших» и замене их новыми. Однако школа была значимой и для советской

социализации выходцев из дворян: это было публичное пространство, которое давало представление о том, что и как следует говорить «на людях». В то же время школьникам, по свидетельствам интервью и мемуаров, приходилось вести двойную жизнь (школа – семья), которая оказывала влияние и на поведение, и на мировосприятие, и на формирование идентичности. Однако ещё более важным для конструирования социальной идентичности было начало взрослой жизни, учебы, работы, принятия собственных решений.

Автор отмечает, что советская официальная идеология предложила вариант самоидентификации и для людей «из бывших», который частично был воспринят ими и помог определить как своё место в обществе, так и границы своей социальной группы (с. 113). Границы «старой интеллигенции» были чёткими: она противопоставлялась тем, кто к ней не принадлежал. Важная линия водораздела – политическая позиция, понимание природы власти, отношение власти к интеллигенции, особенно к той её части, по отношению к которой использовались уничижительные эпитеты, интерпретация негативных проявлений власти. Представители старых элит по неуловимым признакам узнавали друг друга: мировоззрение, культура, способы осмысления и обсуждения, проведение досуга. Признаком «своих» было и молчание на определённые темы. В отличие от «старой интеллигенции», термин «новая интеллигенция» был формальным: туда входили слишком разные люди.

В 60-е годы термин «старая» был вытеснен термином «настоящая»; продолжали выработываться критерии принадлежности к этой группе. Среди них С. Чуйкина называет образованность, широту кругозора, работу в интеллектуальных сферах, наличие корней, семейных тайн, «скелетов в шкафу» и др. Очень важной была предсказуемость поведения в жизненных ситуациях: вести себя так, как принято в данном кругу. Она отмечает, что «настоящая» интеллигенция видела свою роль в трансляции традиционных ценностей и знаний, а не в участии в трансформации общественной системы. Оппозиционно настроенные потомки бывших элит и в позднесоветское время предпочитали сторониться открытого противостояния власти, поскольку опыт страха и молчания предшествующих поколений оставил существенный след в их генетической памяти.

Если первая часть книги была посвящена приспособлению и реконверсии дворян, то вторая реконструирует советскую дворянскую биографию, представляющую собой, с точки зрения автора, и компромисс, и культурную инерцию. Так, следующая глава представляет собой анализ дворянского воспитания в послереволюционной России, того, как модель воспитания, сохраняющаяся в коллективной памяти выходцев из дворянства, адаптировалась к новым условиям. Получившаяся новая модель объединяет в себе как элементы прежней, так и вновь привнесённые, и является примером «созидательной деятельности коллективной памяти и реставрации памяти сценария через заимствование новых элементов» (с. 131). Так, в ходе приспособления дворян к советской жизни

вместо человека «этического» потомки дореволюционных элит стали воспитывать человека «культурного». Это способствовало формированию сообщества «старой интеллигенции».

До революции счастливое детство было характерной чертой жизни дворянина. (В скобках замечу, что классическая русская литература оставила нам много разнообразных его описаний.) И дворянские семьи пытались воплотить эту модель в советской реальности. Прежняя модель воспитания своей целью ставила трансляцию наследия. Как пишет С. Чуйкина, «элитный воспитательный проект покоится на двух столпах»: наблюдении за кругом общения, чтобы в дальнейшем уметь выбрать желательное социальное окружение, и формировании чувства социального превосходства, основанного на усвоении культурных навыков» (с. 134). Воспитываемое чувство исключительности способствовало поддержанию сообщества «старой интеллигенции».

Особенностью советского дворянского воспитания было приспособление домашнего воспитания к окружающей действительности. В результате дети были лояльны и семье, и школе, обычно выбирая компромисс – отстранение от идеологических организаций при сохранении позитивного отношения к окружающей действительности. В то же время в учебных заведениях детям дворян не давали забывать о своём происхождении и в результате воспитывали в них ощущение отличия от других. У некоторых формировалось несколько идентичностей: и дворянина, и советского патриота.

В советское время складывалась не только новая модель воспитания, но трансформировалась и модель частной жизни. С. Чуйкина специально останавливается на ухаживании и матримониальных стратегиях, в которых также прослеживались компромиссные стратегии сохранения традиций и привнесения новых веяний. Приемлемыми для выходцев из дворян стали считаться браки с образованными людьми, представителями интеллектуальных профессий, и в то же время сохранялись традиционные взгляды на то, что мужчина обязан содержать семью, а женщина – заниматься домом и детьми. Дореволюционная модель дома, включающая широкий круг людей, уступила место модели семьи, более узкой, с более эмоциональными и менее ритуализированными отношениями. В жизни семей возросло и значение дружеских связей.

Какой тип личности в результате формировала новая модель дворянского воспитания? В дореволюционных дворянских семьях важнейшим было воспитание моральных принципов, которые в дальнейшем определяли поведение. Основным законом поведения дворянина была *честь*, и ориентировался он в своём поведении и решениях на этические принципы.

В советское время этические пределы и планка порядочности стали для каждого различными и устанавливались самостоятельно. Большую значимость приобрела *профессиональная этика*; стали более распространёнными ориентации на достижение, стремление к статусным позициям и благосостоянию. Автор

отмечает наличие одной способности, которая воспитывалась в дворянских и дореволюционных, и послереволюционных семьях, а в советское время стала ещё более изошённой – это искусство молчания.

На основании сказанного, С. Чуйкина делает вывод о том, что «советское дворянское воспитание 20–30-х годов было ориентировано не на воспроизводство, а на формирование новой социальной группы. Его целью было избавление от «бывшести» и создание комфортного мира в новых условиях» (с. 156). В то же время культурная инерция способствовала отчуждённости от публичной жизни советского общества и поддерживала чувство принадлежности к своему кругу.

Тому, как работает эта культурная инерция, как передаётся от поколения к поколению накопленный культурный капитал, посвящена глава о трансляции семейной памяти. Автор сразу заявляет свою позицию: «Практики памяти – то, как помнят, – помогают понять социально-структурную позицию тех, кто помнит» (с. 157). Семейная память, как и другие капиталы элит, является коллективным достоянием, в её трансляции участвуют все, кто принадлежит к кругу «своих». В то же время содержание и формы семейной памяти (отметим, как и любой другой) постоянно меняются: она сохраняет то, что ей понадобится в настоящем и будущем.

Трансляция семейной памяти дворян, главной целью которой была передача моральных норм, находилась под влиянием двух особенностей внешнего контекста: дискриминации и вынужденного общения с чужими людьми (жизнь в коммунальных квартирах). Дискриминация «бывших» вынуждала к «забыванию» своего дореволюционного прошлого, а присутствие «чужих» в приватном пространстве – к выработке особого языка общения, понятного только своим. Представители дворянских семей перестали считать необходимым сохранение памяти о прошлом и о предках, поскольку надобности в них для настоящего, и часто просто физического выживания, они не видели. Но в то же время в какой-то форме эта память сохранялась, иногда мешая, а иногда и помогая адаптационным стратегиям.

С. Чуйкина выделяет две основные стратегии сознательного редактирования прошлого и памяти: сокрытие семейной истории от потомков и трансляция «отфильтрованного прошлого». Первая стратегия – сокрытие семейной истории – чаще всего была связана с разрывом с прошлым у выходцев из дворян: они меняли имена и фамилии, переезжали в другие города, получали советский диплом, пресекали связи с родственниками и друзьями, пытались создать себе советскую идентичность. Даже в случае, если им это удавалось, их дети всё равно чувствовали наличие тайн и «скелета в шкафу», что затрудняло их идентификацию и адаптацию. Эта стратегия была мало продуктивной: отказ от прошлого не давал забыть о своей стигме, прерывалась трансляция семейной памяти, что пагубным образом сказывалось на их детях.

Отфильтрованное или отредактированное прошлое отмечалось при компромиссной стратегии, более распространенной в то время. От детей не скрывалось дворянское происхождение и многие воспоминания, однако наиболее опасные моменты (информация о размере состояния семьи, о дореволюционной общественной деятельности членов семьи, участии в Белой армии и т. п.), скрывались и не упоминались. Чтобы чувствовать себя более защищёнными, создавался язык общения нового типа, преимущественно невербальный; в вербальном же общении использовались шутки и эвфемизмы. Большую роль в невербальной трансляции памяти играли религиозные ритуалы и традиции, а также вещи и образы утраченного. Использование данной стратегии продолжало трансляцию семейной памяти, давало возможность быстрее ассимилироваться, использовать имеющийся культурный капитал и приобретать новую профессиональную и социальную идентичность.

Демонстративная привязанность к прошлому трансляции семейной памяти не способствовала. Ни в обществе, ни в семье условий для передачи морального и культурного наследия не было, и самое главное – трудно было убедить младшее поколение в значимости этого наследия.

Сравнивая удачно приспособившихся к жизни в СССР представителей дворянских семей с традиционными элитами в других странах, автор делает вывод, что они обладали сходными чертами мировосприятия, такими как семейственность, патриотизм, значимость моральных норм и ответственности, уверенность в своих представлениях, необходимость инвестиций в воспитание детей, контроля старших над младшими. Но в то же время многие характеристики семейной памяти в советский период претерпели существенные изменения.

Очень интересно проведённое автором сравнение семейной памяти традиционной стабильной элиты с семейной памятью рабочих, среднего класса и крестьян. Так, характерными чертами памяти элит являются знание генеалогии, проведение идентификационных параллелей с предками, опора на события национального или международного масштаба, в которых члены семьи принимали участие. Для рабочих и среднего класса характерна память о пережитом лично. Они стремятся ограничить свою семейную память теми людьми, которых знали лично, и исключить далеких предков. Семейная память крестьян охватывает больший исторический период, чем память рабочих, и хотя и не является генеалогической, связана с пространством обитания и насыщена легендами прежних времен.

Автором были найдены также отличия памяти «советских дворян» от памяти традиционных элит. Потомки дворянских семей 1910-х годов рождения знали дореволюционную историю в общих чертах; для них характерна память о пережитом; для структурирования рассказа о себе они апеллировали к историческому контексту или современному, но не к истории семьи. В этих аспектах их семейная память соответствует семейной памяти рабочих, среднего класса

и мигрантов. В отличие от зарубежных элит, потомки дворянских семей даже в случае воспроизведения семейных легенд не связывали их с собственной жизнью. Истории о предках оказались не востребованными ими в контексте собственной жизни, а воспринимались скорее как иллюстрация быта, морали, культуры, которых в настоящее время нет и быть не может.

Поколение 1910-х годов рождения имело дело с уже отредактированной историей семьи. Как осуществлялась устная трансляция семейной памяти от них к их детям 1930-40-х годов рождения? Материальная культура была уничтожена, нематериальная ушла в подполье. Устная коммуникация подвергалась внутренней цензуре. Это поколение выросло в то время, когда ничто не сообщало им о предках. И в то же время опасения и страхи продолжали влиять даже на внутрисемейную коммуникацию. Таким образом, в 30-е годы произошёл разрыв в трансляции семейной памяти, и, пишет автор, «советско-дворянская» память по социологическим характеристикам не является памятью традиционной элиты.

В заключении автор подводит итоги и формулирует выводы. Так, в советское время реконверсия была свойственна всем выходцам из дворянства. В книге приводятся основные социально-структурные, биографические и личностные факторы, которые были важны для осуществления этой стратегии. Это было наличие нематериальных и материальных ресурсов и способность их мобилизовать (профессия, профессиональный опыт, разнообразные знания, широкая социальная сеть и т. д.). **Дворянское воспитание давало хороший потенциал для адаптации к новым условиям жизни.** Наибольшие возможности имели мужчины; наибольшему риску деклассирования подвергались женщины, в особенности пожилые. Исчезновение сословий и переход к обществу нового типа был связан с процессом профессионализации и перемещением старых элит в профессиональные сферы, связанные с воспроизводством и передачей знаний, информации, традиций (наука, культура, искусство, образование). Хотя трансляция дворянской памяти и была прервана в советские годы, в 90-е годы она активизировалась. Стали появляться мемуары, интерес к своему прошлому, предкам и корням, что вносит свою лепту и в коллективную память общества, и его культурную и политическую жизнь.

Я могу с удовольствием заключить, что книга С. Чуйкиной сделана высокопрофессионально, её отличает прекрасный стиль изложения – научный, логичный и строгий. В ней нет никакого наукообразия, которым сейчас, увы, грешат многие тексты.

Рецензируя данную книгу, не могу не отметить, что кроме её содержания, о котором речь шла выше, в ней есть ещё несколько находок и достоинств. С моей точки зрения, очень хорошо, что в книге дана подборка фотографий представителей дворянства. Смотришь на эти лица, и грустно становится от того, что сейчас таких лиц уже практически не встретишь. Это ещё одна иллюстрация – без комментариев – к написанному автором.

К сожалению, не нашла фамилии художника, с большим вкусом и изяществом оформившего книгу фотографиями и рисунками тех предметов материальной культуры, которые ушли в далекое прошлое, казались забытыми, но вернулись к нам из небытия и напомнили о себе, о той культуре, которую они представляют, и о трансформациях нашей памяти.

Закончу тем, с чего начала: в книге Софьи Чуйкиной так много всего, что каждый найдет то, что интересно ему: будь то описание дворянской жизни в разные её периоды, будь то трогательные за душу воспоминания, будь то проблемы семейной памяти и её трансформаций или изменения социальной структуры общества. Так что читайте эту книгу – не пожалеете!

Ольга Плахотник. Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего образования.

Гендерное образование в России: Сборник материалов. Под ред. Е.А.Баллаевой, А.О.Ворониной, Л.Г.Луняковой (М.: Макс-Пресс, 2008).

Сборник, о котором я хочу рассказать, является в определенной степени пионерским – то есть его «теоретическая новизна», выражаясь казёнными словами ВАКа, вполне очевидна. Насколько я знаю, на постсоветском пространстве ещё не было столь общего и в то же время глубокого издания, посвящённого гендерной проблематике в высшей школе.¹ То есть в рамках деятельности того же Московского Центра гендерных исследований уже были отдельные исследования разных аспектов образования – например, гендерный анализ особенностей доступа к обучению в университетах, вузовских учебников и др. Но вот такого обобщающего издания ещё не было. Поэтому первое, что в связи с анализируемой книгой можно было бы сделать – это поздравить Московский Центр гендерных исследований с очередным «прорывом» в научно-практической гендерной проблематике.

Говоря кратко о структуре книги, следует подчеркнуть, что это всё же не монография, а сборник материалов, «представляющий вниманию читателей наиболее интересные работы российских специалистов, изучающих как общие, так и гендерные проблемы высшего образования».² Именно попытка объединить «общие и гендерные проблемы» поставила, как мне кажется, довольно сложную задачу перед составителями сборника. С одной стороны, они собираются акцентировать в своем издании именно гендерные аспекты современного высшего

образования в России, и слово «гендер» здесь должно быть ключевым и сквозным для всех текстов. Таковыми будут, скорее всего, и ожидания читателя. Однако они могут быть частично обмануты, потому что именно «сквозной» гендерная тема, на мой взгляд, в этом сборнике так и не стала.

Однако, с другой стороны, для глубокого понимания проблематики (особенно для нероссийского читателя) необходимо показать контекст сегодняшних реалий университетского образования. Поэтому в сборник включены статьи общего плана о российской образовательной политике, о Болонском процессе и особенностях вхождения в него российской высшей школы, об основных направлениях реформы высшего образования в России и т. п. На первый взгляд, эти статьи вызывают некоторое вышеупомянутое недоумение (а где же «гендер»?), однако, поразмыслив, приходишь к выводу об их органичности и необходимости.

А ведь и правда: кто из нас, даже работая вузовским преподавателем, досконально знает и понимает смысл происходящего в образовательной политике своей страны? Здесь один только Болонский процесс чего стоит: эта тема до такой степени обросла не только теоретическими проблемами, но и мифами, что в ней сложно разобраться. Поэтому, пожалуй, я согласна с составителями сборника в том, что такого рода общие статьи (пусть даже и не связанные напрямую с гендерной проблематикой) в данном сборнике вполне уместны. Правда, я не уверена, что они вправе занимать в нем половину «полезного» объема, но тем не менее.

Некоторые статьи, помещённые в этот сборник, уже были ранее напечатаны – и даже стали своего рода «классикой» в постсоветских гендерных исследованиях. Это, например, широко известное исследование Е. Р. Ярской-Смирновой о гендерном измерении «скрытого учебного плана»,³ работа О. А. Ворониной по гендерной экспертизе учебников для высшей школы, уже издававшаяся МЦГИ отдельной книгой.⁴ Многим известно также исследование З. Х. Саралиевой и С. С. Балобанова о воспроизводстве научно-педагогических кадров в гендерной перспективе.⁵ Однако первые публикации упомянутых текстов, как правило, малодоступны для широкой аудитории, поэтому размещение этих статей в одном сборнике, посвящённом непосредственно сфере образования, является, на мой взгляд, очень разумным шагом, способствующим открытости гендерного знания.

Отдельного упоминания заслуживают работы, написанные специально для сборника. Это статьи «Равенство прав на образование как проблема гендерной политики: постановка проблемы» Е. А. Баллаевой,⁶ «Молодые специалисты на рынке труда: гендерные аспекты» Е. М. Аврамовой,⁷ «Мотивация дополнительного экономического образования: гендерный аспект» И. В. Зороастровой,⁸ а также анализ вклада МЦГИ в развитие

гендерного образования в России, проделанный Л. Г. Луняковой.⁹ Они как раз в наибольшей степени интересны эмпирической нацеленностью гендерного анализа на практики образования – и этим могут быть особенно полезными не только для исследователей, но и для задействованных в процессе высшего образования преподавателей и администраторов.

В сборнике также предлагается несколько приложений информационно-справочного характера. Это перечень спецкурсов и учебных программ, имеющих место в вузах России в 2000–2008 гг., а также перечень названий диссертаций по гендерной тематике (1993–2008 гг.). Конечно, эти списки выглядят неоднозначно (чего стоят только курсы по «гендерологии» и «феминологии» – весьма спорным, на мой взгляд, академическим дисциплинам, если их можно назвать таковыми). Однако в целом приведённая база данных впечатляет.

И, наконец, завершает сборник краткая библиография научных изданий по гендерной тематике, призванная «показать, что изданной в последние годы научной и учебной литературы вполне достаточно для обеспечения образовательных курсов по гендерным исследованиям».¹⁰ Следует также отметить (на мой взгляд, в положительном смысле) отсутствие выводов в этой книге. Вместо них мы находим несколько пустых страничек «Для заметок». Очевидно, выводы надлежит сделать читателю.

В заключение остается ещё раз поздравить МЦГИ с выходом очередной нужной и хорошей книги – и ещё раз посокрушаться, что такого сборника пока ещё нет в Украине (и, подозреваю, в соседних постсоветских государствах тоже).

-
- 1 Это издание подготовлено в рамках проекта Московского Центра гендерных исследований «Аналитико-информационный ресурсный центр для сообщества экспертов по гендерному равенству» (грант Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров).
 - 2 *Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего образования. Гендерное образование в России. Сборник материалов* [Далее: Равные права и равные возможности...] (М.: Макс-Пресс, 2008), с. 7.
 - 3 Ярская-Смирнова Е. Р., «Гендерная социализация в системе образования: скрытый учебный план», *Равные права и равные возможности...*, с. 125–137.
 - 4 Воронина О. А., «Образование и гендерное равенство: экспертиза учебников для высшей школы», Там же, с. 115–124.

- 5 Саралиева З. Х., Балобанов С. С. «Воспроизводство научно-педагогических кадров: гендерный аспект», Там же, с. 202–216.
- 6 *Равные права и равные возможности...*, с. 151–167.
- 7 Там же, с. 181–190.
- 8 Там же, с. 191–201.
- 9 Лунякова Л. Г. «Развитие и распространение гендерных знаний и гендерного образования в России. Вклад МЦГИ», *Равные права и равные возможности...*, с. 217–235.
- 10 Там же, с. 242.

Ольга Демидова. О «бабах с пьесами», гендерных стереотипах и литературном каноне.

Женская драматургия Серебряного века, Сост., вступ. ст. и коммент. М. В. Михайловой (СПб.: Гиперион, 2009), 568 с.

Российская драматургия конца прошлого-начала нынешнего столетия характеризуется, среди прочего, явлением, которое без большого преувеличения можно назвать гендерным «взрывом»: за истекшие полтора-два десятка лет увидело свет (и свет рампы, в том числе) значительное количество пьес, авторы которых – женщины, причём пьесы эти сделались не только объектом читательского/зрительского потребления, но и предметом серьёзной критической рефлексии. Женская драматургия последовательно становится неотъемлемым фактором российского культурного процесса в его литературном и театральном изводах, и это обстоятельство не может не сказываться на состоянии литературного канона, с одной стороны, и общественного сознания – с другой. Вероятно, впервые в истории отечественной словесности женщины-драматурги заняли в каноне приличествующее им место (во всяком случае, это утверждение справедливо по отношению к драматургам старшего поколения – Л. Петрушевской, Л. Птушкиной и др.) – и впервые сложившееся положение воспринимается как должное, не вызывая у публики и критики ни изумления, ни отторжения. Столь благоприятная ситуация располагает не только к размышлениям о современной русской женской драматургии и к осмыслению её специфики и состояния на

синхроническом уровне, но и к попыткам воссоздания истории её становления как самостоятельного культурного феномена в жёстко очерченных рамках драматургии мужской – и в противовес последней. Едва ли не первым опытом подобного рода является книга под редакцией Марии Михайловой *Женская драматургия Серебряного века*.

Как явствует из названия, в книге представлен тот период истории русской культуры, в который русское художественное сознание «оказалось наиболее восприимчивым к идеям феминизма», в результате чего произошёл некий «переворот в женском сознании» (с. 5), отчётливее всего выразившийся в литературе. Тем не менее, драматургия стала той областью творчества, которую женщина начала осваивать позже других, – не только и не исключительно в силу причин собственно эстетического свойства. Современницы и участницы литературного процесса рубежа XIX–XX вв. недвусмысленно писали о том, что «женщина-драматург для того, чтобы была поставлена её пьеса, должна запасть или мужем с весом, или театральным другом, или всякими добрыми приятелями, прикосновенными к театру»; в противном случае, даже если она будет «архиталантливой», женщина-драматург «никогда ничего не добьётся» (с. 6). Женские пьесы объявлялись «женскими изделиями» и расценивались соответствующим образом.¹ Весьма показательное известное высказывание А. Чехова о «бабах с пьесами» как о «бедствии», для борьбы с которым есть «единственное средство <...>: позвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиз и магазин сжечь».² С одной стороны, беззлобная шутка, с другой – весьма настороженная реакция на массовый приход женщин в драматургию, воспринимавшийся в известном смысле как угроза привычному *status quo*.

Учитывая «историю вопроса» и ту атмосферу, в которой складывалась и пыталась функционировать женская драматургия Серебряного века, составитель вполне обоснованно ставит перед собою задачу «проследить, что же на самом деле происходило в женской драматургии этого времени, какие попытки были предприняты писательницами для расшатывания мужского литературного канона и противостояния мужскому засилью в драматургии, какой отзвук получили в женской драматургии идеи феминизма, каковы были героини пьес» (с. 6). В соответствии с этим отбор авторов производился по линии «гендерной ориентированности»: «были выбраны или авторы, в чьих драматургических опытах затрагивались проблемы социокультурного осуществления роли женщины, которые размышляли о возможности женской идентификации, создавали автомиф, или те, кто сознательно <...> отказывался от выявления своего женского “я”» (с. 6–7). При этом отбор, а равно и способ представления и осмысления авторов и текстов осуществлялся с учётом положения дел в литературе, театре и общественном сознании эпохи символизма.

В книгу вошли пьесы восьми авторов: З. Гиппиус (*Святая кровь, Нет и да, Зелёное кольцо*), Л. Зиновьевой-Аннибал (*Кольца, Певучий осёл*), А. Мирэ

(*Побеждённые, Голубой павлин*), А. Мар (*Голоса, Когда тонут корабли*), Т. Щепкиной-Куперник (*Одна из них, Счастливая женщина*), Тэффи (*Счастливая любовь, Тонкая психология, Контора Заренко, Выслужился*), Н. Лухмановой (*Охотник за белой дичью*), Е. Васильевой (*Молодой король, Цветы маленькой Иды*). Очевидно, что под одной обложкой оказались собранными тексты драматургов разных поколений, разных женских и творческих судеб, разных эстетических ориентаций, – подробности судеб и история создания текстов «на фоне» мужской литературы подробно представлены в обширной вступительной статье, предваряющей пьесы и создающей некое «пространство понимания» для заинтересованного и внимательного читателя.

На первый взгляд, вошедшие в книгу пьесы, равно как и их авторов, ничто не объединяет: общение последних было по преимуществу случайным и недолговременным, в иных случаях авторы вообще не были знакомы друг с другом («существовали в разных мирах» – с. 59); что же до, собственно, текстов, они создавались независимо друг от друга и в позитивном и/или негативном смысле «соответствовали» эстетической и художественной парадигмам мужской драматургии Серебряного века. Вместе с тем, совершенно очевидны с разной степенью детализации эксплицированные переклички не только на уровне жанра, тематики и трактовки персонажей, но и собственно символики: *Кольца* Зиновьевой-Аннибал «отзываются сначала в словах принцессы Лис из *Голубого павлина*, воспринимающей любовь как “вечность”, переливающуюся “волшебным золотым кольцом от земли к Богу и к земле от Бога”, а потом замыкаются *Зелёным кольцом* Гиппиус. Отказ от власти Чёрного рыцаря в пьесе А. Мирэ словно бы предвосхищает поступок Молодого короля, познавшего высшую радость сострадания. Символика кнута, удары которого обрушиваются то на Русалочку, то на различных персонажей в *Певучем осле*, преобразуется в изгнание бичом беса похоти (Полозова) в *Охотнике за белой дичью*» (с. 59).

Иными словами, представленные тексты в совокупности убедительно очерчивают тематическую и символическую парадигму женской драматургии рассматриваемого периода, развивавшейся и обретавшей самостоятельность в пространстве мужской литературной (и драматургической в том числе) парадигмы и литературного канона, ориентированного на мужское творчество и являвшегося его социокультурным продуктом. Как явствует из представленных в антологии пьес, являющихся неоспоримым выражением феминного сознания эпохи, последнее убедительно свидетельствовало о невозможности дальнейшего сохранения сложившихся к тому времени и «узаконенных» на уровне общественного сознания отношений мужчины и женщины. И пусть собственно художественные открытия в женском драматургическом творчестве начала прошлого века были ещё «робкими и непрочными» – то, что женщины-драматурги Серебряного века «сделали все вместе, безусловно, расшатывало казавшиеся незыблемыми устои», открывая «шлюзы» (с. 60) тому типу мировосприятия и

стратегиям выстраивания женской и творческой судьбы, которые сложились во второй половине прошлого столетия.

-
- 1 См., напр., цитируемое составителем высказывание критика журнала *Театр*: «Автор пьесы – прежде всего женщина, и её писательские достоинства и недостатки – преимущественно женские. Она прекрасно знает женскую душу, чутко и мягко понимает женские переживания, тонко умеет изображать интимные женские драмы» – но и только (с. 6).
 - 2 Письмо к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 1 октября 1898 г., в Чехов А. П. *Полн. собр. соч. и писем*: В 30 т. Т. 7. (М., 1979), с. 283.

Виктория Ларченко. Затерявшиеся в Паутине, или виртуализированная стереотипизация WWW(oman) vs. MMM(an).

Елена Горошко. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении (Харьков: ФЛП Либуркина Л.М., 2009), 816 с.

Взяв в руки данное солидное издание, кроме его значительного объема, сразу можно отметить нестандартное оформление обложки. Обложка книги точно передает название монографии Елены Горошко *Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении*. В ее левой части находится главный символ всего разнообразия социальных сетей, существующих в коммуникативном пространстве Интернет – @, называемый по-разному в зависимости от национально-специфических ассоциаций («соба(ч)ка», «улитка», «обезьяна», «кошка», «мышонок»). Делится он на две части – розовую и голубую, подчеркивая тем самым стереотипизацию гендерного различия Всемирной Паутины. Справа и параллельно ему на белом фоне изображены стандартные фигуры женщины и мужчины. С одной стороны, они равноправны, так как репрезентируют параллельные геометрические проекции; с другой – тень, падающая от них на белый фон, символизирует гендерный маркер как неравно сконструированный во всей социально-сетевой основе. Другими словами, показана взаимосвязь левой и правой частей обложки, когда гендерная стереотипизация глобального социального контекста проецируется на глобальный виртуальный контекст.

Монография состоит из введения, четырех глав (начиная общетеоретическими и заканчивая теоретико-практическими) и заключения. Каждая глава

разбита на множество подглав, что обеспечивает возможность подробного рассмотрения различных аспектов каждого вопроса и придает исследованию большую фундаментальность.

Эпиграфы к введению кратко, но точно передают содержание монографии и характеристики современного Интернет-пространства как такого, в котором, с одной стороны, все находит свою виртуализированную персонификацию (даже кот Билла Клинтона, имеющий свою страницу в Виртуальной Сети), а с другой – когда Интернет как метафора Дома противостоит «энтропии и агрессивному Хаосу киберпространства» (с. 14). Во введении автор специально уточняет, что использование концепта «Интернет» в западном, а в последствии и постсоветском пространстве произошло практически одновременное наряду с другим – «гендером».

В предисловии к первой главе «Информационно-коммуникативное общество: теория и реальность» приводится одно из наиболее лаконичных, но точных определений понятия «информационного общества», данное в 1997 году. Итак, «это общество, основанное на информации» (с. 23). Определение поражает своей одновременной простотой и емкостью. Далее Елена Горошко дает более расширенное определение, в котором также выделяет две стороны рассматриваемого феномена. С одной стороны, «это общество, в котором все возможности современной цивилизации используются на благо конкретного человека, в котором он максимально раскрывается и целиком реализует себя» (с. 101); с другой – это общество, в котором тот, кто владеет знанием, информацией, обладает и властью. Автор специально акцентирует вопрос о том, что с помощью современных высоких технологий подкрепляются, укрепляются и закрепляются современные властные практики. Кроме того, автор фиксирует переход от информационного к информационно-коммуникативному/коммуникационному обществу, «структурирующей основой развития которого является коммуникация и производство социальных значений» (с. 101), когда эпистемологическая функция восприятия избыточности информации субъектом заменяется перцептивно-визуальной. Данный процесс кардинально меняет методологию изучения социального новой парадигмы, объектами изучения в которой становятся 1) коммуникативное действие, 2) дискурс языка и 3) феномен культуры. Автор также отмечает существование теорий нивелирования социального вследствие сведения *интерсубъективных* отношений к субъект-объектным, когда коммуницирующий субъект сводится к носителю информации, множественно тиражируемому при отсутствии рефлексивной функции, что автоматически снимает «вопрос о “человеческом” предназначении информации *sue generis*» (с. 102). Специально рассматривается вопрос о неравном доступе к Интернету на примере анализа Уанета по сравнению с Рунетом и западным Интернет-контекстом (с. 98).

Вторая глава «Гендерные исследования в социологии» освещает общетеоретические вопросы теоретизации феномена гендера в научном знании – гендерных

исследованиях в целом и социологии в частности. Рассматриваются вопросы зарождения данной науки и ее институционализация как в мировом контексте, так и украинском. Автор выделяет три этапа развития гендерных исследований в Украине: 1) женские исследования, базированные на переосмыслении женского опыта; 2) переход от женских к гендерным исследованиям в связи с периодом трансформации общества, в котором были задействованы как женщины, так и мужчины и 3) государственная институционализация гендерных исследований.

Примечательно, что данная глава начинается с личного опыта автора, когда после рождения ребенка стереотипизация мышления преодолевается повседневными практиками, связанными с необходимостью осмыслений гендерных различий в обществе.

Особый интерес представляет пункт «Изучение маскулинности», где автор рассматривает предпосылки зарождения данного феномена и его трактовки, а также различные понимания категорий «маскулинность» и «мужественность» относительно их отождествления/разграничения; рассматриваются также и концепции отказа от понятия «маскулинность».

В подглаве «Особенности социологического подхода в гендерных исследованиях» автор отмечает, что в то время как западное социологическое знание сформировалось в новые направления – феминистская и гендерная социология, украинское еще находится в стадии своего теоретико-методологического и эмпирического становления. При этом исследуются четыре парадигмы функционирования гендера в социологии: 1) структурно-функциональный анализ, 2) теория социального конструирования, 3) феминистская эпистемология и 4) объединительная парадигма или институциональный подход. В подглаве «Гендер как интрига познания» фиксируется необходимость выхода за пределы конструктивистского подхода в изучении гендера, уже недостаточного в многоаспектном рассмотрении данного феномена в 21 веке.

В третьей главе «Коммуникация: гендерные аспекты» выделяются три основные методологии анализа: 1) социального конструирования гендера (Гофман, Бергер и Лукман), 2) гендерного дисплея (Уэст, Зиммерман) и 3) культурно-символической теории (Фуко, Лакан). Здесь также рассматриваются социопсихологические, коммуникативные различия мужчин и женщин различного возраста, статуса, их гендерные роли в различных контекстах. Так, например, в пункте «Значимость общения для мужчин и женщин» упоминается о большей значимости общения именно для женщин, объем которого в полтора раза превышает объем общения у мужчин; а в пункте «Круг общения у женщин и мужчин» отмечается, что высококомпетентные женщины маргинализируются и исключаются как мужчинами, так и женщинами вследствие гендерной стереотипизации умственного превосходства мужчин и попытками ухода от соперничества с женщинами. Интерес представляет пункт «Гендерные особен-

ности невербальной коммуникации», в котором описываются маскулинные и фемининные различия в невербальном коммуникативном поведении как мужчин, так и женщин, начиная от жестов интимности и заканчивая интерсубъектной дистанцией. Данное измерение, по мнению автора, должно быть учтено в любом процессе коммуникации.

В подглаве «Лингвокультурологическое пространство в гендерном измерении: его особенности и способы изучения» Елена Горошко анализирует взаимосвязь 1) коммуникативного подхода в лингвистике и коммуникативистике, 2) дискурсивного подхода, начиная от критического дискурс-анализа и заканчивая разговорным анализом, 3) теории культурных практик, 4) теории коммуникативных практик. В пункте «Исследования “гендера в коммуникации” на постсоветском пространстве» отмечается, что автором было установлено отсутствие *единой* методологии в постсоветских условиях из-за существования трех основных научных парадигм: 1) деконструктивистская методология, 2) социопсихолингвистика, 3) кросс/лингво-культурные исследования.

Четвертая глава «Гендер в информационно-коммуникативном обществе» является завершающей и поэтому наиболее важной, представляя важные методологические итоги книги в целом. В предисловии к главе Елена Горошко объясняет, что «информационно-коммуникативное общество» – «это общество, в котором происходит переход от системы “человек–технология” к более сложной системе “человек–технология–природа–информация–коммуникация”» (с. 355). Автор отмечает, что именно информационно-коммуникативные технологии занимают центральное место в современном обществе. Информация как структурообразующая основа развития общества и новые технологии ведут к появлению и развитию «новой глобально-информационной среды под названием коммуникативная *инфосфера*» (с. 355). Более того, популярность, глобальность и значимость Интернет привели к появлению новой науки – социологии Интернет, объектом которой является «социальный анализ формирующейся информационной среды в обществе, а предметом изучения – аудитория Интернета и формы социокультурного взаимодействия между людьми при обмене социальной информацией» (с. 356). Исследовательница также указывает на социообразующий потенциал нового вида виртуальной реальности, порожденной Интернет: в частности, пишет о появлении новой парадигмы виртуального воплощения множественности как взаимоотношений мужского и женского с сохранением в нем индивидуальных характеристик каждого субъекта с реализацией собственных/любых гендерных практик. В данной главе проведен контент-анализ мужских и женских сайтов, подтверждающий сделанный автором вывод о формировании «новой гендерной парадигмы». Возможно, нам еще предстоит осмыслить глобальный вывод автора в пункте «Появление широкополосного Интернета и технологий Веб 2.0 и их влияние на коммуникативное пространство сети Интернет» о том, что сегодня «гендерный дискурс создается коллективным

разумом» (с. 561) – особенно если учитывать современные политические реалии, где гендерный дискурс по обе стороны земного шара действительно создается недремлющим «коллективным разумом». Требуящим не меньшего осмысления является вывод автора о том, что сменяющий дискурс-Веб 2.0 дискурс- Веб 3.0 «подразумевает всеобщую персонализацию сети» (с. 561). Сказанное заставляет серьезно задуматься о (новых) путях и способах (видо)изменения гендерной ситуации при очередной смене Веб-парадигм.

Солидные приложения обогащают материал книги, которая дополнена словарем базовых терминов, что позволяет использовать ее и как элемент учебного материала. Кроме того, заметна кропотливая работа автора над текстом книги и вытекающая отсюда масштабность исследования. Именно поэтому данная книга написана на высоком теоретическом уровне и может быть рекомендована специалистам не только в области социологии, гендерных исследований, но и широкому кругу читателей.

Наталья Загурская: Друг не познаётся нигде.

Дружба: очерки по теории практик: Сборник статей / Науч. ред. О. В. Хархордин (СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009), 456 с. (Серия «Прагматический поворот», вып. 3).

В оформлении обложки сборника статей о дружбе под редакцией Олега Хархордина использовано изображение кипрской иконы *Святые Пётр и Павел*. В оригинале они стоят друг против друга, протянув руки и практически обнявшись. Но последнее движение всё же не сделано, и между Петром и Павлом остаётся пусть небольшой, но очевидный зазор. Дизайнер обложки усугубил эту ситуацию, разрезав изображение и разместив Петра и Павла по разные стороны поля так, что они смотрят теперь в разные стороны. Эта коллизия в полной мере отражает концептуальное наполнение сборника. Осмелюсь предположить, что Пётр в этом контексте олицетворяет социологические и политологические исследования дружбы, Павел – философские и социологические, зазор же между ними – традиционный разлад между социальными и гуманитарными науками. Данный сборник во многом привлекает как раз тем, что этот зазор заполняется, а разлад сглаживается удачным сочетанием социального и гуманитарного. Во многом это удачное сочетание обеспечивается, как мне кажется, обращением к концепции политического Карла Шмитта, когда политическое конструируется через наличие концепта врага.

В результате сборник демонстрирует, что дискурсы дружбы возможны только на её маргиналиях. Другими словами, о дружбе говорят тогда, когда она ещё не состоялась или уже исчерпана, но не тогда, когда она актуализована. Дружба в таком случае является всегда отсутствующим объектом идеологии. В результате, как мы понимаем всё лучше по ходу чтения этой книги, нельзя говорить от имени дружбы, можно лишь говорить о дружбе.

Данная концепция дружбы наиболее наглядно реализована в обрамляющих сборник редакторских статьях: «Дружба: классическая теория и современные заботы» и «Послесловие. Дружба: пере-сборка?».

В целом сборник построен по положенному в основу диссертационных исследований принципу трактата: открывается он теоретическим разделом «Дружба в политической теории и социологии: предварительное исследование», а завершается практическим разделом – «Дружба как практика: основное исследование». Послесловие, входящее в него, можно рассматривать как выводы ко всему сборнику. Данная структура подкрепляется и тем, что редакторские статьи являются наиболее теоретическими: если в первой много обращений к античным философам, то заключительная отсылает в большей степени к переосмысленной постмодернистской философии. И хотя здесь уже нет прямых обращений к *Политикам дружбы* Жака Деррида, авторский концепт «пере-сборка» как отечественный аналог деконструкции явно к ним отсылает, но учитывает при этом и переосмысление стоической философии Жиля Делёза.

Общепринятое понимание философии как любви к мудрости также уточняется в редакторских статьях. Если наиболее удачным переводом слова «филия» является слово «дружба» или, по крайней мере, словосочетание «дружеская любовь», то тогда философию лучше было бы понимать как дружбу к мудрости или, что стилистически более приемлемо, дружбу с мудростью. И вся история философской мысли кажется доказательством последнего: ведь и платоническая любовь практически реализуется именно как дружба. Так сборник удачным образом вписывается в серию Издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге, названную «Прагматический поворот». Эта вписанность подтверждается рядом практических исследований дружбы с социологической, исторической, психологической и др. позиций. С другой стороны, возвращаясь к дизайну обложки, несколько странным выглядит кадрирование православной иконы. Но поскольку, как сообщается в аннотации, «книга является первой попыткой проанализировать феномен дружбы в современной России с точки зрения её политического потенциала», то православные аллюзии представляются вполне уместными. И, тем не менее, их сочетание с прагматической направленностью серии вызывает некоторое недоумение.

Если речь идёт о российских практиках дружбы, то историческая статья Дмитрия Калугина «История понятия “дружба” – от Древней Руси до XVIII века» содержит множество ссылок на православную литературу, однако характер этих

ссылки таковы, что они были бы уместны в античной, модернистской и др. традициях. В светском контексте духовная дружба возникает одновременно с виршевой поэзией и тесно с ней переплетается, равно как и психологическая дружба – с распространяющимися с 18 века документально-эпистолярными жанрами.

Борис Гладарев в статье «Социологический анализ дружбы: перспектива сетевого подхода» обращает внимание на то, что несмотря на помощь, совместный отдых и пр., «практика дружбы существует, в первую очередь, как “дружеские разговоры”» (с. 151), и иронически высказывается о её семантическом статусе: «дружеские разговоры окружаются расписанием футбольных матчей и сами кружатся вокруг рецептов приготовления шашлыка или же вокруг переводов Джойса и последнего альбома “Tiger Lilies”. <...> Данные нашего исследования дают основания предполагать, что любители Джойса редко составляют одно избирательное общество с поклонниками фэнтези, а футбольные болельщики никогда не пересекаются в дружеских компаниях с фанатами Брамса. <...> Фигурации обычно стилистически непротиворечивы, что можно выразить поговоркой: “Тот, кто слушает Лакана, не пьёт водку из стакана”. Скорее всего, он вообще водку не пьёт, ну в крайнем случае – из стопки» (с. 165–166).

Таким образом, концептуальная коллизия сборника обостряется: мало того, что дискурс о дружбе затруднителен, он ещё является дискурсом о своеобразном самодостаточном дискурсе. Смысл имеют сами дружеские тексты, а их содержание оказывается вторичным. О. Хархордин метко замечает во вступительной статье: «мы все являемся древними греками, поскольку сохраняем способность подружиться с другим посредством перформативных эффектов речевых актов особого рода» (с. 33). Дружба текстами особенно характерна для пишущих интеллектуалов и обозначает особого рода перманентное отсутствие дружбы. Хорошим примером здесь служит обращение к некрологу Мориса Бланшо на смерть Жоржа Батая. Вопросу, каким был друг, суждено оставаться безответным, поскольку при жизни мы всегда откладываем его прояснения, а после смерти вынуждены неполно отвечать на него, обращаясь к оставшимся *текстам*.

В статье Капитолины Фёдоровой «Разговоры друзей, разговоры о друзьях, разговоры о дружбе» текстуальный подход признаётся наиболее популярным и в современной дружбе, учитывая её дискурсивный характер. В этой статье наиболее выражена гендерная составляющая, подвергающая критике традиционный подход к дружбе, согласно которому «в качестве некоторой нормы, объективно существующей данности рассматривается прототипическая дружба – “настоящая мужская дружба”. Бытие же периферийных вариантов (дружба между разными полами, дружба между женщинами) ставится под вопрос» (с. 107). В современной дружбе, отмечает К. Фёдорова, эти нормативы смягчаются. Например, предложение дружбы в девичьей подростковой субкультуре подразумевает «с одной стороны, отношения между лицами разного пола, взаимно сексуально привлекательными, однако, – с другой, не предполагающие начала сексуальных

отношений» (с. 105), а предложение остаться друзьями – движение в противоположном направлении: от сексуальных отношений к общению между взаимно привлекательными лицами. Этот подход описывает подвижность границы между современными дружбой и любовью.

В статье «Градации близости в современной российской дружбе» Олега Хархордина и Анны Ковалёвой эти различия выявляются в различиях между текстуальными и телесными практиками как гендерными различиями. Здесь весьма захватывающе описывается и анализируется момент, когда дружба могла бы стать любовью, но дистанция, их отличающая, была не редуцирована, но заполнена текстуально. Что, впрочем, не исключало телесной составляющей, поскольку у респондентки от текстуальных практик выяснения отношений «даже голову *ломил*» (с. 68). Более активным агентом дружбы, принимающим решения о её дальнейшем характере, «прибегая к таким весомым координатам действия, как дети и юридические обязательства» (с. 71), оказывается, по мнению авторов, женщина. Это происходит в связи с принципиально не-иерархичным, анархическим характером власти. Особенно показательным в этом случае оказывается сближение анархизма и феминизма первой волны. Не случайно в статье «Понятие “дружба” в контексте международных отношений» Евгений Рошин, описывая концепцию Уильяма Годвина, в скобках маркирует его как мужа Мэри Уолстоункрафт (с. 370).

Дискурсивным же образом выстраивается ось близости знакомый-приятель-друг-сексуальный партнёр, описанная в статье Хархордина и Ковалёвой, которую можно дополнить «тонким различием» между понятиями «дружить» и «дружба» в трактовке Фёдоровой, рассматривающей дружбу – на основе данных интервью – как более «сильное» понятие (с. 104). Положения актантов на оси близости респонденты, как правило, описывают с помощью пространственных метафор («вокруг меня», «за спиной» и пр.). Парадокс состоит в том, что сужение оси близости друг-знакомый обосновывает принципиальное отсутствие дружбы. При максимальном сужении этого пространственного круга дружбы в нём остаётся только сам говорящий – а поскольку, учитывая процессуальность современной субъективности, он также не может быть чётко обозначен, мы обнаруживаем место друга как пустое. Здесь возможно обратиться к работе *Я как другой* Поля Рикёра, подчеркнув дефисом её основной концепт – *Я как друг-ой*. В целом, дружба в большой степени основывается на признании инаковости другого и его несимметричности, на что в ходе критики аристотелевской трактовки дружбы обращают внимание Бланшо и Деррида. Гладарев транспонирует этот подход в социологический контекст и рассматривает «другое» как неопределённый, но необходимый сегмент социальной сети (с. 136–137).

Несмотря на признание того, что друг всегда чей-то, то есть всегда обозначается его принадлежность, тем не менее, «действует круг, а не друг» (с. 430), поскольку принадлежность обозначается всегда по отношению к третьему лицу:

«само слово, очевидно, было сконструировано по модели таких слов как “служба”, “тяжба”, “татьба” и “ворожба”» (с. 338). Отсюда и такой вывод: «вещи – не только подпорки и подковы, но и оковы дружбы» (с. 440).

Основой заключительной редакторской статьи является социология Бруно Латура, в последней книге которого *Пересборка социального* разрабатывается концепция перехвата действий отдельного актанта и включения их результатов в общий контекст группы как необходимое условие её формирования. А значит, «после дружбы кулаками (или кошельками) не машут» (с. 449). И хотя трудно согласиться с интерпретацией философии Делёза в духе «люди вложены в складки вещей, или сгибают их» (с. 452), всё-таки от такого рода социологии возможен переход к дружбе как событийному аффекту, смысловой поверхности означающих. На бытовом уровне этот аффект выражается в ощущении, что после дружеской встречи нечто произошло – причём это «нечто» можно долго описывать, но так и не описать, поскольку речь идёт не об изменении реальности, а об её переосмыслении.

Вероятно, дружба возможна только за пределами философии и, шире, филии. Олег Хархордин вслед за Люком Болтански полагает настоящей дружбу агапическую, тем более, что этот подход не противоречит традиционному для российских исследователей обращению к православной мысли, когда смысл производится образом, в том числе и иконическим (дисциплинирующим и формирующим). Такая дружба также обнаруживается и за пределами экономических отношений, в ситуациях, когда обмен подарками или потлач теряют своё значение: вместо них начинает работать механизм активного забывания эквивалентности дружеских инвестиций. Правда, речь здесь идёт о материальных инвестициях в дружбу, анализу которых – с опорой на Латура – в сборнике уделяется, пожалуй, основное внимание. Эмоционально-психологические инвестиции здесь не учитываются. Но ведь именно на их основе возможна дружба – несмотря на то, что дискурсивное оформление эмоционально-психологических инвестиций всегда затруднительно. Раздражение по поводу этих затруднений может приводить к некоторой агрессивности и деструктивности. Например, в редакторской вступительной статье Хархордина читаем: «Приняв аргументы неоаристотелевской традиции как верные, приходишь к следующему. Призыв к возрождению практики периодической проверки и обсуждения добродетелей российских граждан стоит расценивать не как восстановление кровавых комиссий по чистке, а как попытку применить практику, ранее способствовавшую осуществлению террора, для достижения благородных и гуманных целей. Если, конечно, принять необходимые меры предосторожности» (с. 42). Одна из таких практик, по мнению Хархордина, всегда присутствует во встроеном в празднование дня рождения механизме оценки личности: ведь поздравления, подарки и тосты всегда косвенно оценивают личные моральные качества субъекта. Таким образом реализуется дружба как забота о душе, описанная в классических

текстах, и одновременно демонстрируется репрессивность такого обращения: ведь субъекта в ситуации приоритета души по отношению к телу подвергают регрессивной процедуре обличения. Неявные гендерные коннотации присутствуют не только в понимании дружбы как заботе не о теле, ассоциируемом в традиционной философии с женским, но о душе, ассоциируемой с мужским. Несмотря на «тяжёлую»/телесную работу с «весомыми» понятиями в ходе проведения интервью отнюдь не на простую тему, всё-таки в сборнике оптимистически постулируется: «невыносимая лёгкость конструктивизма, к счастью для нас, ограничивается тяжёлой весомостью понятий, которые выявили наши интервью» (с. 74). Но не оборачивается ли «невыносимая лёгкость конструктивизма», понятая в шмиттовской парадигме политического, регрессией к нему – в том числе и к гендерному конструктивизму?..

Данный аргумент можно рассматривать как ещё один в пользу принципиального отсутствия дружбы. Ведь шмиттовское политическое понимается здесь слишком буквально (в частности, процесс обличения как поиск врага). В результате мы невольно способны предположить, что дружба – это процесс формирования исключительно вражеской среды. И хотя в заключительной статье редактор с лёгкостью конструктивистского подхода в социологии замечает, что чаще всего друг и дружба «ведут себя не так, как, кажется, должны себя вести. А чаще всего они вообще не ведут себя, их ведут и поддерживают другие» (с. 424), однако шмиттовское политическое по-прежнему остается основой дискурсивного оформления дружбы.

Инга Иштван. Voyages extraordinaires: гендерные аллегории и фантастическое кино

Фантастическое кино. Эпизод первый / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), 408 с.

Томас Эльзесер, признавая наличие структурной закономерности в возвращении романтических мотивов в рассматриваемых фильмах, а также роль кино как средства их реализации (*Доктор Калигари, Пражский студент, Носферату, Голем, Метрополис*), в статье «Социальная мобильность и фантастика: немецкое немое кино» высказывает предположение о том, что элементы фантастического не только визуализируют политические конфликты, но и помогают их реализовать. Принимая во внимание то, что методологической моделью для

его исследования послужила работа Зигфрида Кракауэра *От Калигари до Гитлера*, в которой, в частности, рассматривается идея возможности «соотнесения сюжетов популярных фильмов с другими силами, действующими в обществе и политической жизни»,¹ можно предположить, что Эльзессера интересует оживление романтических мотивов в Новом немецком кино (в частности, в работах Вернера Херцога и Вернера Шрөтера), а также связь фантастического с неудавшимися социальными изменениями. «После каждой провалившейся революции – в 1798, 1846, 1918 и 1968 годах – мы обнаруживаем, – пишет автор, – половодье анимизма и неистового иррационализма в мышлении людей. В таком случае преобладание фантазии предположительно объясняется реакцией, обычно культурного и/или географического меньшинства на их исключение из движения исторических событий».² Тем не менее, Эльзессер далек от того, чтобы говорить о существовании строгой закономерности между возникновением популярной культуры и подобными «состояниями исключения», напротив, ему представляются преувеличенными попытки психоаналитической и герменевтической традиции претендовать на открытие гомологий социальной и нарративной структур, как это происходит у Кракауэра. В результате немецкое фантастическое кино рассматривается Эльзессером исходя из двойной перспективы: с одной стороны, утверждается, что эти фильмы «аллегорически отображают реальное социальное положение художника-интеллектуала»,³ с другой – появление романтических мотивов способствует популярности фантастического кино не как изображения классового конфликта, но как формы социального отношения, при которой сами фантастические фильмы представляют собой не что иное как бартовские «рассказы-сделки», предлагающие уже не «воображаемые решения реальных противоречий», но отрицание и вытеснение этих противоречий в фетишизированной и реифицированной форме.

В статье «Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее?» Фредерик Джеймисон рассматривает идею прогресса в качестве своеобразного симптома, указывающего на область «неприрученной мысли» (леви-строссовское *pensée sauvage*), аналогом которой становится конститутивная функция первофантазии в теории Фрейда. Теория нарративной «неприрученной мысли» утверждает эпистемологический приоритет таких фантазий как базовых повествований политического бессознательного, когда объект исследования не существует в «эмпирической» форме,⁴ но реконструируется исходя из практики «симптоматического чтения». Таким образом, Джеймисон ставит задачу – обозначить *способы опосредования*, с помощью которых коллективные первофантазии находят свое частичное выражение в текстах высокой и массовой культуры. Одной из подобных стратегий опосредования «повседневной жизни капитализма» для Джеймисона становится открытие природы утопии как жанра – в работах *Обездоленный* Урсулы Ле Гуин, *Женомуж(чина)* Джоанны Расс, *Женщина на краю времени* Мардж Пирси и *Тритон* Сэмюэла Дилани. Вместе

с тем, в советском научно-фантастическом романе, в частности, в *Туманности Андромеды* И. Ефремова, утопическое измерение негативности, или же «мысль о структурной невозможности утопической репрезентации»,⁵ преимущественно не просматривается (за исключением *Пикника на обочине* Стругацких, в котором Джеймисон признает присутствие утопического импульса). Татьяна Дашкова и Борис Степанов в статье «Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского *Солярис* и *Сталкер*» отмечают, что в большинстве существующих трактовок этих фильмов «фантастическое рассматривается в качестве заменителя чего-то другого (религиозного, политического, психологического)»⁶. «Фантастическое» в таком случае начинает означать не что иное как средство, посредством которого осуществляются отношения между группами, а императив прочтения концептов культуры как «социально символических актов», или же форм отношения между коллективными группами, становится стратегией достижения новой коллективной «утопической сферы чувствования».

Работы Джеймисона и Эльзессера позволяют обратить внимание на различие научной фантастики как литературного жанра и кино как средства информации, к которому обращается в своей статье «"Совершенствование чувств": Разум и визуальное в фантастическом кино» Барри Кит Грант, утверждая, что кино противостоит развитию научной фантастики как таковой. Рассматривая «генеалогию» научной фантастики, Грант предлагает провести первоначальное различие между фантастикой и хоррором, а также фантастикой и фэнтези, при этом цитируя Роберта Хайнлайна: «Разница между фантастикой и фэнтези не меньше, чем между Карлом Марксом и Граучо Марксом».⁷ Если фэнтези основывается на заведомо невероятных посылах, в фильмах ужасов «воображаемые существа возникают из колоссального нарушения идеологических норм»,⁸ подрывая «устройство природы и мира»,⁹ то фантастические повествования представляют собой то, что Меллес называл «необычайными путешествиями» (*voyages extraordinaires*), которые нацелены на расширение нарративной точки зрения – границ и горизонтов, а населяющие их персонажи – на нарушение общественного порядка.

Тем не менее, в статье «Фантастическое кино и проблема иного» Наталья Самутина озвучивает позицию, исходя из которой можно рассматривать неомарксистскую идеологическую критику фантастики как «стратегии опосредования» отношения к репрессивным режимам культуры, а также гендерную и психоаналитическую критику как в равной мере недостаточные. По ее мнению, последние два подхода отстаивают наивную романтическую оппозицию природного и технологического, в которой «замалчивается» сконструированность самого «природного».

В этом смысле противоречивым выглядят исследования Вивиан Собчак, с одной стороны, в статье «Города на краю времени: урбаническая кинофантастика» отказывающейся от подхода классического урбанизма, восприни-

мающего город только лишь как «объект», то есть как нечто принципиально отличное от населяющих его субъектов,¹⁰ с другой стороны, этой «урбанической поэтике»,¹¹ реконструируемой на конкретных примерах, противостоит «гендерно-аналитический» подход в статье «Девственность астронавтов: секс и фантастическое кино». Закавычить эти подходы представляется необходимым уже в силу двусмысленности постановки вопроса об объекте критического исследования Собчак, поскольку критике подвергается не столько воспроизводство традиционных оснований, но то, что жанр фантастического кино «отказывает эротике и либидо в традиционной нарративной репрезентации».¹² В частности, автор высказывает заметную обеспокоенность тем, что «женщинам, наделенным такими качествами, как сексуальная притягательность или биологическая способность к деторождению, непременно положено оказаться в объятиях чужака, существа иного вида: в первом случае (при всей либеральности идеи, вложенной в фильм) чернокожего мужчины, а во втором – жестокого компьютера».¹³ Несомненно то, что Вивиан Собчак является уважаемым автором, тем не менее, если подобные фантастические высказывания, напоминающие о риторике гендерных конференций вне модуса иронии воспринимаются как анти-феминистские, неуловимо расистские, да и просто сексистские, возникает вопрос, был ли столь уж удачен выбор автором «психоаналитического подхода»¹⁴ к теме «секс и фантастическое кино»? Утверждения же о заполнении подобной лакуны введением «стандартных историй “встретились Он и Она”» обусловлено, возможно, стремлением «защитить героев от негласных обвинений в гомосексуализме», поскольку «шлейф подозрений в “нестандартной ориентации” издавна тянется за жанром».¹⁵ После высказывания «Чтобы обезвредить женщину как “секс-бомбу”, превратить ее в нечто безобидное и неугрожающее, используются такие средства как костюм, профессия, социальное положение и установки»¹⁶ автор переходит к конкретным примерам: принцессы Леи из *Звездных войн* и Рипли из *Чужого*, «растворяющихся» в среде коллег-мужчин, представляют собой персонажей, которые могут быть заменены на представителей другого пола на сюжетном уровне. Соответственно, первым, на что обращает внимание автор, является то, что принцесса Лея – это «боевой товарищ», который не позволяет себе «размякнуть, расслабиться, предстать в кокетливом неглиже».¹⁷ Далее следует стандартный упрек автора в том, что в «гаремный наряд» Лея облачается отнюдь не для Хана Соло, но для «чужака, существа другого вида» Джаббы Хаттла, «инопланетянина, заметьте».¹⁸ Таким образом, жанр фантастики, по мнению Собчак, разрушает семиотическую связь между биологической сексуальностью и женщинами («с принцессами не спят, за них сражаются»), в то же время, формируя связь между биологической асексуальностью и мужчинами.¹⁹ В статье Собчак, кроме того, утверждается, что женщины вынесены на периферию нарратива, а когда речь идет о визуальных знаках мужской сексуальности, то бескомпромиссность утверждений возрастает: Собчак считает, что у всех астро-

навтов «на лице написано, что они способны совершать немыслимые подвиги без единого проблеска мысли»²⁰ и что «их одеревенелые позы и педантичное отношение к профессиональным обязанностям даже рядом не лежали – осмелюсь сказать! – с сексуальностью и чувственностью».²¹ Напомним, что если первоначально и говорилось о нарушении семиотической связи между биологической сексуальностью и женщинами, то теперь уже речь, напротив, начинает идти о том, что фигуры женщин – это фигуры матерей, жен, подруг, «которые одним своим присутствием изобличают ничтожность и подражательность мужских усилий – всех этих технологий творения и их бездушной продукции».²² Таким образом, уже ближе к концу статьи Собчак озвучивает широко цитируемый аргумент о том, что жанр фантастики привязан к инфантильным доэдиповским драмам, где женщина выступает в качестве матери и Другого,²³ при этом автор ссылается на статью о «вытеснении» из словаря психоаналитических терминов, отмечая, что именно в этой словарной статье «с высшей точностью описывается то, что выше было сказано нами о присутствии и отсутствии женщин в фантастическом кино».²⁴ Сложно представить, что подобный подход может быть назван «гендерным» или «психоаналитическим» с достаточными на то основаниями.

Барбара Крид в статье «Ужас и монструозно-феминное. Воображаемое отторжение (абъекция)» обращается к проблематике, разрабатываемой Юлией Кристевой – в частности, к структурированию субъективности в фигуры абъектов. Эти «состояния исключения» закрепляются в ритуальных практиках и языке, а отторжение субъекта, или абъекция, происходит посредством религиозного или культурного дискурса. Тела абъектов либо намечают стирание границ между человеческим и животным, как это происходит в фильмах ужасов (вампиры, упыри, зомби и оборотни), либо обозначают отношение субъекта к социальному порядку («хрупкость закона»). Крид выделяет четыре случая производства монструозного в фантастических фильмах ужасов: во-первых, на границе между человеческим и нечеловеческим, а именно человеком и зверем (*Доктор Джекил и мистер Хайд*, *Тварь из Черной лагуны*, *Кинг-Конг*); во-вторых, на границе между естественным и сверхъестественным, добром и злом (*Кэрри*, *Экзорцист*, *Омен*, *Ребенок Розмари*) в-третьих, на границе, разделяющей тех, кто принимает свои гендерные роли и тех, кто этого не делает (*Психо*, *Одетые для убийства*, *Отражение страха*); и в-четвертых, на границе между «нормальным» и «ненормальным» сексуальным желанием (*Путешествие*, *Голод*, *Люди-кошки*).²⁵ Заметим, что в статье «Эффект фантастики в кино» Сергей Зенкин отмечает преемственность фантастического кино и романтической фантастики, также обращаясь к мотиву «чудовищного тела», в котором совмещаются «реальный» и «иной» миры.²⁶ Проблема женского фетишизма рассматривается Крид на примере обращения к исследованию Роже Дадуна *Фетишизм в фильмах ужасов*, в котором показывается, что фильмы ужасов о вампирах, связанные с фигурой Дракулы, иллюстрируют работу «функции фетиша», а также к сцене из фильма

Психо, в которой Норман сообщает Марион Крэйн, что «мама ... сегодня сама не своя». «Он был чертовски прав, – пишет Крид. – Мама была не сама, не своя, мама вообще не была собой. Она была кем-то еще. Своим сыном – Норманом». ²⁷ Таким образом, в отличие от Собчак, Крид не ограничивается указанием на эдипальность/до-эдипальность нарратива, обосновывая наивность и непроясненность подобной позиции замечанием Терезы де Лауретис: «... сказать, что нарратив является эдипальным продуктом, значит сказать, что каждый читатель – мужского или женского пола – ограничен и определен в рамках двух полюсов различия по сексуальному признаку: мужчина-герой-человек на стороне субъекта; женщина-препятствие-граница-пространство на противоположной стороне». ²⁸

В статье «Космическое бессознательное. Аналитика Стэнли Кубрика» Олег Аронсон обращается к рассмотрению двух ключевых проблем: первая из них описывается как неразличимость человеческого и машинного, вторая связана с задачей нахождения «места “человеческого”» в условиях подобной неразличимости. ²⁹ То «нечеловеческое в человеческом мире», которым для Крид было «сверхъестественное» или «животное», у Аронсона не описывается как аморальное или жуткое: «Скорее, это внеморальное, ненужное и даже презираемое. Это – техника, с которой мирятся, пока она приносит пользу и способствует прогрессу <...>». ³⁰ Карл Фридман в статье «2001: Космическая одиссея Кубрика. Форма и идеология в фантастическом кино», говоря о своеобразном противопоставлении «театра курильщиков» Брехта и «кинематографа спецэффектов», отмечает, что литературная фантастика по своей природе является критическим жанром. ³¹ Именно поэтому важным становится понимание того, что ключевое отличие позиции Аронсона, а также понимание кино как социального высказывания, от попыток конструирования оппозиции «биологии и техники» у Собчак состоит в различном понимании природы негативности – как обосновываемой через принципиальное различие и исключение (в случае последней), или же как формулируемой через эквивалентность и «политики потенциальности». Как пишет Аронсон: «Но, возможно, – кинематограф Кубрика подводит нас к этому, – основное напряжение возникает не между машиной и человеком, а между двумя типами машин: абстрактными (идеальными) и сломанными. И различие между человеком и машиной есть следствие неразличимости этих несовместимых друг с другом машин». ³² Компьютер HAL из *Космической одиссеи* и мальчик-робот из *Искусственного интеллекта*, представляющие собой «сломанные» машины, для Аронсона становятся аналитическим описанием человека – «в одном случае его мозга, в другом – чувства». ³³ Неслучайно в статье «Восстание картезианцев: к социологической характеристике фильма *Бегущий по лезвию*» Александр Ф. Филиппов также поднимает вопрос о «человеческом» в повседневном существовании «города будущего», где разница между человеком и андроидом практически отсутствует. В частности, социальная жизнь города преимущественно характеризуется либо контрактными отношениями, либо отношениями господства

и подчинения, либо же возникновением временных симпатий и антипатий, вызванных случайными соприкосновениями и мимолетными встречами, в то время как «утверждение о том, что с течением времени репликаны способны развить свою эмоциональную жизнь заставляет в полной мере осознать смысл вопроса: что же является человеческим в человеке, особенно если он ведет социально и эмоционально бедную, рутинизированную в рамках повседневных сценариев и обыденных типизаций жизнь?».³⁴ В мире *Бегущего по лезвию* (к этому же фильму обращаются Вернон Шетли и Алиса Фергюссон-Филипс в своей статье о параллаксах «исповедования образов» и «исповедования реальности») именно андроиды-репликаны становятся носителями своеобразного чувства солидарности, и в этой связи утверждение Бодрийера о том, что робот является единственной вещью, которую действительно изобрела научная фантастика,³⁵ может прочитываться как симптом возникновения неуловимого утопического импульса в самом средоточии популярной массовой культуры.

Школа «критической утопии», к представителям которой Андрей Хренов в статье «“Все мы киборги”: жанр фантастики сквозь призму киноавангарда США 60-80-х годов» относит Дарко Сувина, Фредерика Джеймисона, Питера Фиттинга и других теоретиков, связанных с основанием в 1973 году журнала *Science-Fiction Studies*, сыграла свою роль в возобновлении интереса к марксистскому утопическому потенциалу, в частности – к **критике товарного фе-тишизма общества потребления и постулированию «новой чувственности»**.³⁶ Возобновленная фигура верности утопическому импульсу появляется в связи с утверждением о том, что американское экспериментальное кино 60-70-х годов черпало вдохновение в интенциях революционного авангарда 20-30-х. Представители авангарда, понимаемого как утопическая модель социальных проектов и как форма художественной рефлексии одновременно, «стремились к устранению границ между «искусством» (интерпретируемым как создание эстетических объектов) и самой «жизнью» (трактуемой как комплекс социальных, отчасти ритуализированных конвенций между членами общества), к возвышению над ним».³⁷ Теории артикуляции политического и эстетического характеризуются идеей утопических трансформаций, а также утверждением «новой чувственности» в работах Маркузе, Роззока, Зонтаг и Рейча. «Ради создания новой художественной гармонии кинохудожники начала 60-х – Брюс Бэйли, Кэрл Шниманн, Джек Смит, Майя Дерен, Стэн Брэкидж – пробовали традиционно несовместимые материалы, краски, звуки, движения; они черпали вдохновение в джазе, современном танце, скульптуре (включая, например, и кинетические работы А. Кальдера), перформансах и уличном театре, “живописи действия” и поэзии битников».³⁸ Введенное Харольдом Розенбергом понятие «живопись действия» (1952) характеризовалось в том числе тем, что холст для художника становился пространством для «действия», а не репрезентации, таким образом, то, что происходило на холсте, было уже не «картиной», но «событием».

Сходным образом, когда Скотт Бьюкатман говорит о том, что кино является спецэффектом, или же когда Брукс Лэндон цитирует утверждение Шавиро о том, что кинообразы – это не репрезентации, но события,³⁹ мы можем говорить о производстве искусства в эпоху его принципиальной «невоспроизводимости». Можно предположить, что об этом же понимании статуса произведения искусства, – не «объекта», но, быть может, «рефлексивного медиума», – говорит и Валерий Подорога в статье «Блокбастер. Поэтика разрушения», описывая произведение как событие, которое, свершаясь, разрушает предшествующие условия восприятия, в том числе и самого себя.⁴⁰

-
- 1 Эльзессер Т. «Социальная мобильность и фантастика: немецкое немое кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 83.
 - 2 Там же, с. 86.
 - 3 Там же, с. 102.
 - 4 Джеймисон Ф. «Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее?», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 34.
 - 5 Там же, с. 46.
 - 6 Дашкова Т., Степанов Б. «Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского *Солярис* и *Сталкер*», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 312.
 - 7 Грант Б. К. «"Совершенствование чувств": Разум и визуальное в фантастическом кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 20.
 - 8 Там же, с. 22.
 - 9 Там же, с. 23.
 - 10 Собчак В. «Города на краю времени: урбаническая кинофантастика», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 105.
 - 11 Там же, с. 121.

- 12 Собчак В. «Девственность астронавтов: секс и фантастическое кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 167.
- 13 Там же, с. 169.
- 14 Там же, с. 168.
- 15 Там же, с. 169.
- 16 Там же, с. 170.
- 17 Там же, с. 171.
- 18 Там же.
- 19 Там же, с. 173.
- 20 Там же.
- 21 Там же, с. 174.
- 22 Там же.
- 23 Там же, с. 181.
- 24 Там же, с. 175.
- 25 Крид Б. «Ужас и монструозно-феминное. Воображаемое отторжение (абъ-екция)», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 189.
- 26 Зенкин С. «Эффект фантастики в кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 61.
- 27 Крид Б. «Ужас и монструозно-феминное. Воображаемое отторжение (абъ-екция)», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛЮ, 2006), с. 212.
- 28 Там же, с. 202.
- 29 Аронсон О. «Космическое бессознательное. Аналитика Стэнли Кубрика»,

- Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 213.
- 30 Там же, с. 215.
- 31 Фридман К. «2001: Космическая одиссея Кубрика. Форма и идеология в фантастическом кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 361.
- 32 Аронсон О. «Космическое бессознательное. Аналитика Стэнли Кубрика», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 219.
- 33 Там же.
- 34 Филиппов А. Ф. «Восстание картезианцев: к социологической характеристике фильма *Бегущий по лезвию*», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 138.
- 35 См. Зенкин С. «Эффект фантастики в кино», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 58.
- 36 Хренов А. «“Все мы киборги”: жанр фантастики сквозь призму киноавангарда США 60-80-х годов», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 161.
- 37 Там же, с. 154.
- 38 Там же, с. 155.
- 39 Лэндон Б. «Диегетическое или дигитальное? Сближение фантастической литературы и фантастического кино в гипермедиа», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 258.
- 40 Подорога В. «Блокбастер. Поэтика разрушения», *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Под ред. Н. В. Самутиной (М.: НЛО, 2006), с. 277.

Вадим Лебедев: Не только о Луне.

Trinh T. Minh-Ha. When the Moon Waxes Red: Representation, Gender and Cultural politics (New York – London: Routledge, 1991), 251 p.

Имя Трин Мин-Ха достаточно известно в интеллектуальных кругах. Её перу принадлежат работы по теории феминизма, постколониальным исследованиям, культуре стран «третьего мира», визуальному искусству, современной культуре вообще. Среди её книг есть и написанные в соавторстве с крупнейшими философами и социологами современности. Кроме того, Трин Мин-Ха известна и как кинематографист, и как медийный художник. Исходя из сказанного, очевидно, что, хотя и давно изданная, эта книга, относясь к классическим феминистским работам, заслуживает специального внимания.

Когда Луна становится красной – сборник эссе. Изучая разные аспекты исключённости, невидимости и маргинальности в современной культуре, Трин Мин-Ха рассматривает азиатские и африканские тексты в соотношении с теорией мифологик Ролана Барта и в контексте победившего «общества спектакля» Ги Дебора. Уже вступление к *Луне* достаточно любопытно. В нём воспроизводится китайская легенда о богине Луны Чан Э. Когда-то она была женой героя Хоу И, но, проглотив предназначавшуюся ему пилюлю бессмертия, обрекла себя на вечную жизнь на Луне. Для людей Запада Луна – всего лишь ещё один объект для колонизации. Для китайцев – символ женственности. А современными китайскими феминистками история Чан Э воспринимается совсем по-иному. Оказывается, будущая богиня *украдала* пилюлю, дарующую вечную жизнь, чтобы обрести свободу! Точно так же, как Луна только отражает свет Солнца и, соответственно, становится то ярче, то темнее, женщина отвергает Женственность («она – луна, и она же – нет»). Во время китайской революции почитание Луны, столь характерное для китайской традиции, было отброшено как «контрреволюционное». Луна воздействует на все организмы и системы, пробуждая их к жизни; точно также и женское, понятое в этом контексте, способно выступать как организующее начало. Трин Мин-Ха понимает феминистское движение не только как борьбу за равноправие женщин (белых среднего класса по преимуществу), но и как движение, защищающее права *всех* угнетённых независимо от пола, чьи права нарушаются из-за их цвета кожи, языка, происхождения. Именно поэтому в «Суммирующем путешествии значения» сила документального кино видится автором в том, что оно предоставляет возможность высказаться и быть услышанными тем, кому официальная культура такого права не даёт.

Книга состоит из трех разделов. Первый, «Ничейные территории», в большей степени сконцентрирован на проблемах кинематографа. Эссе «Хлопок и железо» показывает одну из характерных особенностей стиля автора – поэтичность её языка. Именно поэтому, с одной стороны, читая книгу, испытываешь чувство эстетического удовольствия, с другой – это затрудняет её восприятие

в терминах привычного научного дискурса. Текст насыщен символами, метафорами, аллюзиями. В нём цитируются и произведения мыслителей Запада, и классические произведения Востока (притчи, стихи), и произведения современных африканских и латиноамериканских авторов. Сочетание в одном тексте китайских легенд и цитат из работ пуэрториканского революционера, надо заметить, производит весьма своеобразный эффект.

Во втором разделе («Она, в промежутке») проблемы феминизма рассматриваются через призму современной культуры. К примеру, в эссе «Ненаписанное/Глубоко написанное» Трин Мин-Ха, анализируя феминизм, проводит интересную мысль о его сходстве с негритюдом (учением, обосновывающим всевластие негритянской расы). Эссе «Собственное представление» посвящено проблематике языка и символов в киноискусстве: решающим языком современности для автора является цвет в различных культурах.

В третьем разделе – озаглавленном, соответственно, «Третий сценарий» – автор рассматривает вопросы отношений между культурами и маргинальностью. Интересны эссе об африканском романе, музыке, соотнесённости философии Барта и Востока.

Оформление книги подчеркивает сосредоточенность автора на «третьем мире». Как мне кажется, здесь превалирует интерес автора к культуре Африки – но, в то же время, в тексте встречаются неоднократные апелляции и к культуре Китая. Таким образом, данная книга до сих пор интересна тем, кто занимается гендерными исследованиями как кросс-культурным диалогом в современном мире постдемократии.

Красный цвет Луны означает грядущие бедствия. И в то же время он – цвет и жизни тоже. Поэтому, следуя мысли Трин Мин-Ха, можно всё-таки предположить, что красная Луна означает наступление новой, свободной и равноправной для всех жизни.

Виктория Ларченко. (ИЗ)меняя (НЕ)изменный мир(Б): n(R)оиски Глобальной Сексуальности в/vs. Сексуальной Глобальности, или (во) вSEM nRoшy viNumь «(Q(ueer))»...

Binnie J. The Globalization of Sexuality (London: Sage Publications, 2004), 167 p.

Джон Бинни объясняет, что книга посвящена критическому осмыслению взаимоотношений между сексуальностью, нацией и глобализацией, а именно –

анализу производства нации и глобализации посредством сексуальности, или «глобализированной дискурсивной истине о сексуальности» с помощью понятия «квир-глобализация». Отсюда и дизайн обложки книги, на которой изображена гетерогенная пара – белая женщина и черный мужчина, не смотрящие друг на друга; причем, лицо мужчины прикрыто бейсболкой, в то время как взор женщины потуплен. В целом, возникает впечатление неловкости из-за отношений в этой паре, отражающих современный парадокс двойного угнетения женщины не просто как социально-биологического индивидуума, но и как принадлежащей белой расе! Этот проблематизирующий современную гетеросексуальность дизайн дополнен размытыми фигурами другой пары, взоры которой, в отличие от первой, направлены друг к другу. Однако если в первой фигуре из этой пары угадывается мужчина, во второй – скорее невозможность угадать пол как таковой. Цвет лиц второй пары – желтый, окантованный красным – явно нарушает первую дихотомию белое-черное первой пары.

Книга состоит из восьми глав и заключения. Она хорошо структурирована: в начале каждой главы автор ставит вопросы, которые в ней будут рассмотрены; в конце даются выводы к каждой подглаве и к каждой главе в целом.

В первой главе «Сексуальность и социальная теория – вызов квир-глобализации» формулируется провокативный тезис о том, что сексуальность сегодня олицетворяется с гомофобией, что проявляется, например, в феномене секс-туризма в условиях глобализации. Автор рассказывает предысторию написания данной книги – редактор издательства *Sage* попросил Дж. Бинни написать книгу о сексуальности для «междисциплинарного рынка» и «глобальной англоязычной аудитории» (с. 3), в то время как сам автор прокомментировал данный заказ как воспроизводство лингвистической гегемонии, или лингвистического империализма, нарушающего лингвистические права субъектов, говорящих не на английском языке.¹ Поэтому, как отмечает Бинни, в книге представлена попытка сопротивления глобализированному дискурсу сексуальности, а также заявлениям о доверии знаниям, накопленным на основе космополитической власти/морали с ее главным принципом классового разделения.

Дж. Бинни анализирует работы, посвященные глобализации и транс-национальным исследованиям – А. Онг, Т. Бреннан, С. Жижека. Специально артикулируется тезис Бреннан о невозможности каждого/любого субъекта стать субъектом космополитизма, поскольку всегда существуют исключенные из этого дискурса, а также провокативный тезис Жижека о национализме и фашизме как исключенных из дискурса космополитизма. Дж. Бинни дискурс космополитизма в этом аспекте также провокативно трактует как квир-космополитизм, свойственный крупным урбанистическим центрам гей-культуры потребления.

Во второй главе «Нация и сексуальный раскол» отмечается недостаток исследований взаимоотношения глобализации и нации-государства в теориях квир-глобализации. Автором подчеркивается важность национальных различий

в регулировании и контроле сексуальностей: он призывает к более внимательному анализу конструирования национальной идентичности через сексуальные культуры – так же, как и к анализу в этом контексте классовой идентичности. В главе рассматриваются понятия «нация» и «сексуальность» как с позиций эссенционализма, так и социального конструктивизма. Дж. Бинни критикует отсутствие связи сексуальности и гендера и в феминистской литературе, в которой, по его мнению, не уделено должного внимания проблеме маскулинности и критике национализма. Стабильность идентичности и лояльность по отношению к нации-государству, являющиеся оплотом теорий национализма, может подвергаться опасности со стороны «сексуального раскола»: ведь негетерогенное сексуальное желание представляет угрозу национальной директиве в отношении репродуктивности. В то же время Бинни считает, что так называемый «сексуальный раскол» не является угрожающим для некоторых западных национализмов, для которых гей-лесбийские права не представляются недопустимыми. Исследователь иронически называет эти национализмы «пролиберальные», «прокосмолитичные», поддерживающие толерантность и уважение как к 1) женщинам, так и к 2) сексуальным меньшинствам (с. 30).

В третьей главе «Локализация квир-глобализации» отмечается, что сегодня по-прежнему редко анализируется взаимосвязь сексуального и экономического в мейнстрим-дискурсе глобализации. А если анализируется, то экономическое развитие по-прежнему считается определяющим. Поэтому здесь Бинни опять вводит термин квир-глобализации и формулирует, что наиболее предпочтительным для него представляется определение глобализации, данное Р. Робертсоном как «сжатие мира и стабилизация сознания мира в целом» (с. 33) из-за переноса основного акцента в процессе глобализации на сознание/бессознательное и, соответственно, феномен сексуальности. Тезис Бинни состоит в том, что сексуальности все еще рассматриваются как вторичные формы капитала по отношению к глобальному экономическому капиталу, в то время как сегодня уже невозможно представить глобальные практики потребления без обращения к сексуальности и желанию. Поэтому квир-глобализация исследуется Дж. Бинни через исследование квир-киберпространства, в котором, благодаря новым технологиям, осуществляется возможность «эротического общения» (с. 48). Преимущества подобного пространства заключены в том, что одинокие и молодые представители квир-культуры могут, не посещая *real-life* гей/лесбийских заведений, создавать новые дружеские/любовные отношения, организовывать свои группы по интересам и т.п. Тем не менее, данное квир-киберпространство является, по мнению автора, отражением социально-экономического неравенства *off-line* мира с его ограничением доступа к технологиям, а также лингвистической гегемонией английского языка. Впрочем, можно отметить, что подобные ограничения относятся ко всему киберпространству, вне зависимости от гендерной принадлежности *online*-субъекта.

В четвертой главе «Экономика квир-глобализации» исследуется экономика производства сексуальных идентичностей, культур и сообществ, что является необходимым аспектом в так называемом «материалистическом квир-мышлении» (термин Дж. Шампань). Дж. Бинни критикует мистификации дискурса так называемой «розовой экономики» (*pink economy*) как бизнеса, обеспечивающего удовлетворение различных интересов сексуальных меньшинств² и предоставляющего новые рабочие места. Бинни пишет: «коммерческие территории, являющиеся видимой, публичной манифестацией розовой экономики, вызывают сильное чувство лояльности, собственности и гордости, с одной стороны, и гомофобии и ненависти – с другой». И делает парадоксальное, на первый взгляд, заключение: «Многие лесбийские и гей-субъекты также могут испытывать чувство отсутствия идентификации в данных пространствах и могут ощущать себя исключенными из них» (с. 58). Исследователь анализирует идентификацию, которую называет «глобальный гей» (*global gay*), полагая, что глобальная гей-культура может привести к появлению гомогенизированного аналога *McDonald's – McPink*, что будет еще одним дополнительным звеном в функционировании сексуальности и экономики гетерогенного большинства. В главе анализируется и понятие «глокализированный гей-субъект» как эффект материальных и символических секторов потребления для гей-субъектов, а также гей-поселения (*gay villages*), репрезентирующие, по мнению автора, тенденцию к универсализму гей-культуры. Таким образом, Дж. Бинни утверждает, что сексуальность представляет собой не просто эффект, следствие глобальных экономических процессов, но сама их производит.

В пятой главе «Квир-постколониализм» доказывается, что квир-теория – так же, как и гей/лесбийские исследования – страдает этноцентризмом и что ареал подобной этноцентричности намного обширнее, чем просто дихотомия Запад vs. «другие». Анализируя квир и постколониальные исследования, Дж. Бинни пришел к выводу, что они не лишены тенденций к элитизму. В главе сравниваются «глобализация гомофобии» с глобальной потребительской гей-культурой. Дж. Бинни парадоксально утверждает, что именно на Западе, а не в националистических дискурсах «других миров» (термин Г. Ч. Спивак) гомосексуальная идентичность больше всего подвергается критике и деконструкции. Исследователь отмечает также необходимость анализа квир-диаспоры: миграция, эффектом которой являются квир-диаспоры, необходима многим квир-субъектам для вовлечения в квир-глобализацию, что позволяет маркировать их как полноценных граждан квир-мира.

В шестой главе «Квир-мобильность, политики миграции и туризма» утверждается, что миграция – основной способ, в котором пространственный континуум, то есть вопросы национализма и гражданства играют значительную роль в формировании сексуальных идентичностей. Туризм рассматривается как сексуализированный феномен. При этом автор утверждает, что неназывание гей-

туризма маскирует факт того, что любой вид туризма является секс-туризмом в той мере, в какой туристические практики вообще сексуализированы, базируясь – парадоксальным образом – на традиционной гетеросексуальной романтике туристической сексуализации. Дж. Бинни считает, что гей/лесбийские субъекты выступают в туристической индустрии в качестве как потребители, так и производители; часто – с низкооплачиваемой работой в сфере услуг. Именно последний факт приводит исследователя к выводу, что преувеличенные заявления относительно экономической мощи услуг гей/лесбийского туризма, направленные на укрепление и воспроизводство дискурса розовой экономики, иногда укрепляют ошибочные представления о том, что гей/лесбийские субъекты не только гипербогаты, но и гипермобильны. Ведь хотя романтизация различий и инаковости в квир-мобильности является частью квир-утопизма, Дж. Бинни, напротив, отмечает расовое деление квир-субъектов на уровне их доступа к мобильности, а также репрессивные расистские и имперские практики нации-государства в отношении цветных квир-субъектов как маргинализованных в качестве расово Других (*racialized Others*). И если цветные квир-субъекты маркируются как пассивные, белые квир-субъекты маркируются как гипермобильные и активные, формируя, таким образом, часть транснациональной элиты. Поэтому исследователь предлагает рассматривать миграцию по двум основным параметрам: через бинарную оппозицию сельский/городской и гендерное маркирование. Более того, Дж. Бинни утверждает, что бинарная оппозиция сельский/городской является основным фактором в создании нарратива *coming out* и в более общем управлении современными сексуальными идентичностями.

В седьмой главе «СПИД и квир-глобализация» Дж. Бинни цитирует В. Хавера: «ВИЧ – впервые истинно космополитичен, не ограничен географическими, культурными, сексуальными, классовыми или расовыми рамками» (с. 107). Бинни считает, что СПИД-дискурс – это первый постсовременный/космополитичный дискурс, выявляющий кризис легитимации капиталистических обществ и угрозу веры в современную науку (с. 113), угрозу национальному суверенитету, «симптом глобализированной паники» (с. 120). Именно СПИД-дискурс часто маркируется сегодня как метафора глобализации, что вызывает у исследователя серьезные опасения. И действительно, отказ в правах человеку, имеющему СПИД, является не только угрозой «национальному телу», но и угрозой глобализированной мобильности данного субъекта. По мнению Дж. Бинни, взаимосвязь СПИДа и глобализации бросает вызов современной социальной теории относительно сексуальностей и сексуальных идентичностей, маргинализуя вирус-инфицированных как дважды исключенных: из фетишизации локальных национальных дискурсов и из глобальных космополитических.

В восьмой главе «Осуществляя квиризацию транснационального урбанизма» (*Queering Transnational Urbanism*) (с переводом термина *queering* возникает та же проблема, что и с переводом термина *gendering*) Дж. Бинни отмечает, что

развитие больших мегаполисов является одним из составляющих сексуального гражданства из-за того, что такие города являются непосредственным пунктом миграции. Автор постулирует, что мигрировавший субъект более предан именно городу, а не государству. К подобным глобальным квир-городам относятся, по мнению автора, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж, Сидней и Лондон. Дж. Бинни выделяет две главные противоречивые тенденции трансформации квир-городов: с одной стороны, рост инфраструктуры международной гей/лесбийской туристической индустрии и, соответственно, рекламу этих городов как пространства для гей/лесбийского потребления и туризма; с другой – очищение пространства, ассоциируемого с искоренением различий и угроз. Космополитизм – основной термин в маркетинге этих городов, по мнению автора (с. 134). В результате, с одной стороны, наблюдается привлечение транснационального капитала в производство квир-пространств таких городов; с другой – глобализация приводит к санитарной обработке и очищению квир-пространств вследствие конструирования маркера «аморальности» для оправдания определенных политических действий. Парадокс состоит в том, включение сексуального, классового и расового разнообразия в дискурс глобализации играет ведущую роль в производстве ... защищенного гетеросексуального белого субъекта среднего класса.

В главе «Выводы» автор отмечает, что критично настроен по отношению к редуционистским тенденциям в понимании процесса квир-глобализации. Поэтому в заключении Дж. Бинни говорит о необходимости более активного диалога в рамках современных социальных теорий для всестороннего осмысления как феноменов глобализации в целом, так и глобализации сексуальностей и, в частности, квир-глобализации.

Данная книга представляет собой фундаментальное и «вызывающее» исследование широкого спектра современных теорий глобализации в контексте проблем сексуальности, национализма и постколониализма и может быть рекомендована специалистам в области не только гендерных/квир/гей/лесбийских исследований, но и других социальных наук.

1 Phillipson R. *Linguistic Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 365 p.

2 http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=xn_sociology&page=showid&id=10520